



ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА

© З. К. ТАРЛАНОВ,

©доктор филологических наук

Как известно, 2007-й год объявлен Годом русского языка. Разные люди по-разному воспринимают это решение. Одни усматривают в нем чисто политический смысл. Другим кажется, что большего внимания требует не русский язык, а языки народов России, в особенности те, которые недавно обрели письменность. Для третьих – это не самая главная среди животрепещущих проблем современной России, где социальная жизнь значительных слоев ее населения остается неустроенной.

Ни в коей мере не оспаривая правомерности и таких размышлений и не подменяя их, отметим, что решение Президента представляется безусловно верным, ибо оно направлено на защиту долгосрочных интересов, будущего всех без исключения граждан и народов России независимо от их общественно-политических предпочтений, нынешнего социального и материального положения, их представлений о развитии общества. Дело в том, что язык, общий для всех граждан, для всего населения, – это важнейшее условие успешного существования единого государства.

Такой язык является государствообразующим, а потому и государственным. Так было всегда. Таковы уроки истории. Вспомним хотя бы историю Римской империи с ее государственным латинским языком, современных европейских государств, в образовании которых значительна была сплавивающая роль соответственно французского, итальянского, немецкого и др. языков. Отсюда ясно, что решение Прези-

дента продиктовано прежде всего заботой о Российском государстве, о его укреплении.

Собственно история российских народов, вошедших в единое государство, в течение веков сложилась таким образом, что языком для них стал русский. И получилось так не в результате принуждения, а естественно, объективно-исторически. В этом смысле у русского языка не было конкурентов среди языков народов России и Российской империи. Он сыграл огромную роль в развитии самих этих народов, в приобщении их к мировым культурным, научным достижениям, в пропаганде их культур в России и в мире.

Когда после Второй мировой войны русский язык юридически был признан одним из шести рабочих языков ООН, он стал вместе с тем и одним из мировых языков, в равной мере доступным всем нашим соотечественникам. Это было, безусловно, очень значительным событием в жизни всех народов нашей страны, поскольку расширяло возможности их общения в мире. В качестве одного из мировых языков его активно изучали в школах, гимназиях, вузах, на курсах почти в 100 странах мира.

И вот не стало Советского Союза, одним из стержней которого был русский язык. Идеологию с государства перенесли на язык, хотя он здесь совершенно ни при чем. Стали широко распространяться оскорбительные по своей сути, пренебрежительные по форме выражения “совковый язык”, “тоталитарный язык”, “аппаратный язык”, “язык советского ГУЛАГа”, “язык мата”, забывая о том, что это язык Пушкина и Гоголя, Толстого и Тургенева, Достоевского и Чехова, других гениев всемирно признанной русской литературы. Самым востребованным лингвистическим “товаром” оказались словари мата и криминала. Стало хорошим тоном иронизировать над хрестоматийно знаменитыми словами “великий и могучий”, с которыми в конце своей жизни обращался к русскому языку блистательный Иван Сергеевич Тургенев, в совершенстве владевший несколькими европейскими языками.

Наступило время, когда цинизм по отношению к русскому языку внутри страны обрел беспрецедентный размах. Говорить грубо, развязно, с вопиющим пренебрежением к веками наработанной стилистике, культуре и гуманизму превратилось в моду.

Одним из внешнеполитических последствий такого отношения к русскому языку стало сокращение пространства его функционирования в мире. Даже во многих бывших республиках Союза его перевели в ранг иностранного языка. Все это происходит в то время, когда другие страны горой стоят за свои государственные языки, вкладывая в их поддержку, развитие и распространение в мире в том числе и немалые финансовые средства. Таковы, например, Франция с франкофонными (франкоязычными) странами; самая бедная в Европейском Союзе Португалия, отстаивающая лузофонию – интересы и место португальского языка в мире; Англия с ее неизменной заботой о статусе английского

языка в содружестве англоязычных государств. Германия прилагает немалые усилия к тому, чтобы немецкий язык также был признан языком ООН. Заметным становится стремление Турции к расширению пространства использования турецкого языка в тюркоязычных странах, в том числе и на постсоветском пространстве. Это и понятно, так как распространение языкового влияния – это испытанный фактор современной международной жизни и политики. В этом же свете нужно оценивать и процессы, связанные с глобализацией.

Все это необходимо иметь в виду, чтобы верно понять решение Президента Российской Федерации объявить 2007-й год Годом русского языка. Самый важный его смысл состоит в том, чтобы изменить в лучшую сторону отношение к русскому языку прежде всего в самой России, чтобы он стал предметом заботы и государства, и общества, чтобы речевая культура, в том числе и культура письменной речи, стала выше. Только так можно восстановить интерес к русскому языку в зарубежных странах, к языку великой русской литературы, к народам и культурам Российской Федерации.

Культурно-исторически неадекватными должны быть признаны и затянувшиеся споры о так называемых титульных языках субъектов Федерации в противовес общегосударственному. Если и говорить о титульных языках, то главный из них – русский, ибо речь идет о Российском государстве. Именно он является родным языком полноценного среднего и высшего образования для всех народов России, профессиональных, научных, производственно-деловых успехов всех ее граждан независимо от их национальной принадлежности.

Петрозаводск



*“Ключевые” слова
в литературе романтиков*

© Д. Л. ОБИДИН

Критерием миропознания для романтиков первой половины XIX века были чувства, но описать их достаточно трудно, поэтому В.М. Жирмунский в статье “Задачи поэтики” [1] указывал на важную роль, которую играют в литературе романтизма слова, выражающие эти чувства. Употребление “неопределенных” слов типа: *что-то, как бы, какое-то, казалось, как будто, мнится* и т.п., а также условно названных им “сказочными эпитетами” прилагательных со значением неопределенности (*неизъяснимый, неясный, тайный*) В.М. Жирмунский считал отличительной особенностью именно романтического стиля. Они использовались романтиками по отношению к человеческим чувствам, состояниям, применительно к сверхприродным, потусторонним, мистическим существам и стихиям, населявшим романтическую литературу XIX века.

Вот, например, некоторые “неопределенные” слова и эпитеты В.А. Жуковского: *“Как будто здесь...”*; *“Как бы эфирное”*; *“В непостигаемом блаженства упоенье...”*; *“с сей тайною страной”*; *“Исполнен смутного огня”* (Курсив здесь и далее наш. – Д.О.) [2].

Еще более заметно использование “неопределенных” слов и эпитетов в произведениях более позднего, окончательно сложившегося романтического стиля, например у Каролины Павловой: “Какой-то отзыв”; “Неизъяснимый, как любовь”; “неведомая сила” [3]. И у Евдокии Ростопчиной: “Как бы предчувствием мучительным полна!”; “И душу что-то шевелит”; “Какое-то разгульное веселье / С безумной, безотчетною тоской...” [4].

Во всех этих случаях, как можно заметить, “неопределенные” слова и эпитеты непосредственно связаны с чувствами, мыслями лирического героя или его ощущением потустороннего, сверхъестественного мира. Впрочем, и такие случаи использования “неопределенных” слов и эпитетов, как, например, “таинственно струилось с вышины голубое мягкое мерцание звезд”, “странный сдержанный шорох”, обнаруженные В.М. Жирмунским в прозе Тургенева, характеризуют не свойства и качества самих по себе, объективно существующих звезд или иных явлений природы, а именно настроение, душевное состояние, переживание созерцающего эти звезды персонажа. Изображение природы служит лишь средством передачи внутреннего мира человека, это яркая черта романтического стиля литературы девятнадцатого века.

Романтик не может обойтись в своих произведениях без оценки, эмоциональной характеристики окружающей его природной и социальной реальности. Ведь основная задача его произведений – воссоздание не объективной, практически достоверной действительности, а реальности, чувственно предполагаемой, идеальной, “истинной” с точки зрения никогда не удовлетворяющегося окружающим бытием романтика. А эта “действительность” создается в том числе и эмоциональной окраской, “красками души” оценивающего и изображающего окружающий мир человека.

По словам В.В. Виноградова, “в романтическом языке Гоголя – характерное для романтиков засилье эпитетов, <...> поражающих эмоциональным напряжением” [5]. В лирике Жуковского, по замечанию Н.А. Гуляева, “преобладают не изобразительные, а оценивающие эпитеты, раскрывающие состояние души самого автора” [6].

Священный, прекрасный, волшебный, великий, прелестный, незабвенный, небесный, чудесный, блаженный, бесценный, драгоценный, возвышенный, восхитительный, величественный, нетленный, вдохновенный, дивный, неодолимый, несказанный, невозвратимый – такими и подобными эпитетами пестрят стихотворения Жуковского. На две тысячи строк его лирических произведений, по нашим подсчетам, их около ста, например: “священный круг”; “незабвенные часы”; “черты волшебные”; “святым огнем”; “мрачных келиях”; “душой прекрасной”; “прелестна там весна” [2].

Описываемые в литературе романтиков природные, предметные явления окружающего человека мира очень часто приобретают избы-

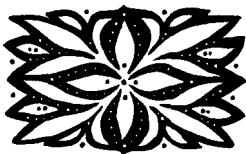
точно яркие, светлые или, наоборот, темные, мрачные качества и свойства.

Последующее поколение романтиков чуть сдержаннее в использовании подобной, несколько прискучившей к этому времени, стандартной романтической лексики. Но и они не могут обойтись без таких же оценочно-преувеличивающих эпитетов. На две тысячи строк лирических стихотворений Евдокии Ростопчиной, например, их приходится около 80; на то же количество строк у Юлии Жадовской – 60, у Каролины Павловой – 50. Сравним их – иногда это одни и те же эпитеты: у Е. Ростопчиной – “священным вдохновеньем”; “Могилам *незабвенным*”; “*волшебных* уз”; “Виденья *мрачные*”; “вечер *прекрасный*”; у К. Павловой – “дар *священный*”; “*Незабвенно-давних* грез”; “*Волшебных* звуков”; “*Мрачна* мне неба синева”; “*прекрасными* строфами”; у Ю. Жадовской – “*святой* любви”; “*незабвенный* мой друг”; “мечты *волшебной*”; “*мрачное* небо”, “*прекрасных* глазах”.

Явные лексические предпочтения, продиктованные особенностями мироощущения этих авторов, так же как и своеобразное использование “сказочных эпитетов” и “неопределенных” слов, более чем точно характеризуют литературный стиль эпохи романтизма.

Литература

1. Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. СПб., 2001. С. 72, 73.
2. Жуковский В.А. Баллады и стихотворения. М., 1990.
3. Павлова К.К. Полное собрание стихотворений. М.-Л., 1964.
4. Ростопчина Е.П. Талисман: Избранная лирика. Драма. Документы, письма, воспоминания. М., 1987.
5. Виноградов В.В. Избранные труды. Язык и стиль русских писателей. От Карамзина до Гоголя. М., 1990. С. 283.
6. Гуляева Н.А. Литературные направления и методы в русской и зарубежной литературе XVII–XIX веков. М., 1983. С. 62.
7. Жадовская Ю.В. Избранные стихотворения. Ярославль, 1958.



Человек и животное в прозе И.А. Бунина

Опыт этнолингвистического анализа

© С. М. БЕЛЯКОВА,
кандидат филологических наук

Участь сынов человеческих и участь животных – участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех и нет у человека преимущества перед скотом...

Екклесиаст, гл. 3, 19.

Повести и рассказы Бунина 1900–1910-х годов (“Деревня”, “Суходол”, “Антоновские яблоки”, “Худая трава”, “Хороших кровей”, “Захар Воробьев” и др.), а также рассказы “Ворон” и “Волки” из цикла “Темные аллеи” населены, наряду с миром людей, и миром животных, домашних и диких. Они тесно переплетены, и “звериный” мир отбрасывает свой отблеск на человеческий.

Прежде всего отметим зоонимы-вокативы – многие персонажи носят прозвища, связанные с животными: Герваська из “Суходола” “получил кличку борзой”; Донька Коза, Митя – Утиная Головка – персонажи “Деревни”. Анималистическую основу можно обнаружить и в прозвище Серый (это одно из наименований волка), а также в фамилии Баскаков из “Жизни Арсеньева” (от тюркского *баскак* – “губитель, душитель”, что тоже может ассоциироваться с волком).

Люди часто напоминают животных, как домашних, так и диких, сравниваются с ними: Герваська “поскалил по-собачьи голубоватые челюсти” (“Суходол”); мучник Черняев, “все время косивший... свинными глазами” (“Деревня”); “мертвое звериное лицо Иванушки” (“Деревня”); похожий на ворона отец (“Ворон”); кобель, “имеющий какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем Суходолом” (“Суходол”).

Эпитеты и предикаты, относящиеся у Бунина к домашним животным, в обычном языке характеризуют человека: “угрюмые, чем-то недовольные кабаны” (“Деревня”); “лениво потягиваясь, с визгом зевая и

улыбаясь, окружают его гончие” (“Антоновские яблоки”); собаки иронически названы “надворными советниками”.

В то же время есть и примеры обратного характера: женщина кричит “волчьим голосом”, от старости у человека “лошадиной становится голова”. Описания поведения мужчины, предшествующего его близости с женщиной, напоминают действия хищного зверя по отношению к своей жертве: “схватив руку Молодой, зверски стиснул ее” (“Деревня”), “сдавлив, одним махом кинул” (“Суходол”).

Частотны сравнения человека и животного, характерные для народной, диалектной речи и выражаемые в форме пословиц и поговорок. Например: “загонят тебя, куда ворон костей не тащал” (“Деревня”); “волк коню не свойственник” (“Суходол”); “грызутся... как собаки” (“Деревня”); “жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи” (“Деревня”); “стар кобель, да не батькой звать” (“Деревня”) и другие. Кузьма (“Деревня”) вспоминает русские народные песни, где свекор “лютый да придирчивый”, “сидит на палате, ровно кобель на канате”, свекровь “сидит на печи, ровно сука на цепи”, золовки – “псовки да клязуницы”.

В качестве ругательств используются лексемы *свинья, собака, сукин сын, паук, ослиная челюсть, кошкодёр, живорез, кобель цепной, животное, зверь, сука подворотная*. Подобные инвективы широко распространены в любой культуре [1]. Если в архаической мифологической традиции животные обожествляются и помещаются на вершину социальной иерархии, то в более поздние периоды человек ставит животный мир ниже себя и относится к нему пренебрежительно [2].

Среди домашних животных чаще других упоминаются и используются для сравнения “кобель”, “свинья”, “жеребец”, “кобыла”. Образ собаки ассоциируется как с преданностью, так и со злобой, враждой. Лексема *собака* может иметь и положительную, и отрицательную оценку, однако слова *кобель* и *сука (сучка)*, употребленные в переносном смысле, являются бранными. В христианстве собака может служить символом язычника. У Бунина об этом свидетельствует диалог Серого и приказчика в “Деревне”:

– Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.

– Я не собака, а крещеный человек.

Ср. также реплику Тихона Ильича:

– Лба не дают перекрестить, собаки!

У Бунина домашние животные враждебны человеку. Свиньи – “вечно угрюмые и чем-то недовольные”, жеребец – “злой, тяжелый, гривастый, грудастый”, мерин – “силен и страшен” (примеры из “Деревни”). Домашний скот – кабала, обуза:

– Вы подумайте: к брату родному нельзя съездить, – кабаны не пускают, свиньи! – говорит Тихон из “Деревни”.

Мир животных, даже домашних, у Бунина, как правило, мир страшный, “дикий”: «Носят дурновские бабы “рога” на голове: ...косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье» (“Деревня”). Люди и домашняя скотина находятся в постоянной вражде. Животные, особенно лошади, становятся опасными для человека. Таких примеров множество: бык “закатал старуху” в рассказе “Захар Воробьев”, понесшие лошади едва не покалечили героиню (“Волки”). Постоянный для Бунина этого периода мотив – смерть, причиненная животными. “Лошадь убила” Петра Петровича в “Суходоле”, повесть “Деревня” начинается фразой “Прадеда Красовых... затравил борзыми барин Дурново”, собаки “на клочки разорвали нищенку” (“Хороших кровей”), кобыла чуть не лишила жизни Серого. Этот мотив приобретает народно-мифологическое звучание в рассказе Иванушки из “Деревни”: “всякая лошадь раз в году, в день Флора и Лавра, норовит человека убить”. Животные словно мстят человеку за свое приручение, оставаясь, по сути дела, “дикими”.

Не менее драматической и символической может стать и смерть животного, но чаще – птицы, причем “чистой”: голубя, соловья и некоторых других. Это мертвый снегирь за окном; “мечта” Акима выстрелить из ружья по соловью; упоминание Кузьмы о том, что “для забавы голубей сшибают с крыш камнями” (“Деревня”). Мифологическое прочтение позволяет связать эти сцены с представлениями о человеческой душе, принимающей облик птицы. Есть сцена издевательства над животными – над тройкой “худых рабочих лошадей” (“Деревня”), напоминающая страшный сон в романе “Преступление и наказание” Ф. Достоевского.

Болезнь и смерть объединяют людей и животных. Человек перед смертью ведет себя подобно зверю: он ищет траву, которая может ему помочь, “забывается умирать в свою собственную норь” (“Худая трава”). Если жизнь, по Бунину, равняет человека с животным, снижает его до уровня домашней скотины или дикого зверя, то смерть (а также болезнь, страдания) может возвысить птицу или зверя. Они так же заслуживают сострадания, как и люди.

Еще одна параллель в трактовке писателем образов человека и животного – это роль жертвы. Ее принимает на себя Молодая, соглашаясь на свадьбу-искупление. Здесь же говорится, что Серый забивает к свадьбе сына “худую свинью”, которую прислал в подарок Тихон Ильич [3].

Животные издавна воспринимались в качестве медиаторов между мирами. У Бунина они оказываются связанными с дьяволом, нечистой силой, смертью, страшными пророчествами. Кухарка Тихона из “Деревни” восклицает:

“– Ох, господи! Кабы у нас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне – нагнали к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких... Да все черных, все черных!”

Пророчества, связанные с животными, могут иметь социальный подтекст. Так, бунт мужиков начинается с того, что на парах помещика “пасса мужицкий табун” (“Деревня”).

Нечистая сила зачастую предстает в образе животных, что характерно и для народной мифологии. В “Суходоле” появляется серый козел – “сам дьявол”. Ворон также считается одной из ипостасей дьявола. Черт в “Деревне” похож на собаку, но этот образ скорее напоминает персонаж славянской демонологии, он не столько зловещ, сколько снижен, профанирован.

В рассказе “Хороших кровей” описан ритуал обретения колдовских знаний, осуществляемый при помощи собаки и свиньи.

Присущий животным “древний страх огня” связан с мотивами грозы, зарниц, пожара, особенно явственно он звучит в “Суходоле”.

Можно сказать, что, по Бунину, человек и животное находятся в родстве: страшен мир человеческий, но страшен и мир животных. В бестиарии Бунина отражены представления о мире животных как сфере сниженного, домашние животные, традиционно близкие к человеку, его помощники и кормилицы, в произведениях писателя чаще всего “дикие”, враждебные существа. В противопоставлении “дикое – домашнее (животное)” члены этой пары приобретают у писателя синонимические значения. Смысл “зверь” порождает разные направления ассоциаций: зверь – человек, зверь – домашнее животное. Смысл “животное” реализуется в ассоциативных рядах: животное – зверь, нечистая сила, смерть. В оппозиции “чужой – свой” животное является “чужим”. Хотя смерть, наоборот, может возвысить образы птицы или зверя. В бунинских представлениях о единстве всего живого на земле звучат как языческие, так и христианские мотивы.

Литература

1. Жельвис В.И. Национально-специфические особенности семантики зоонимов как элемент типологического анализа // Лексическая семантика и фразеология. Л., 1987.
2. Арутюнова Н.Д. Алогичность метафорических полей. Между мифом и метафорой // Русский язык сегодня. М., 2003. Вып. 2.
3. Никонова Т.А. О смысле человеческого существования в творчестве И. Бунина // И.А. Бунин: Диалог с миром. Воронеж, 1999. С. 5–16.

Гюмень



“Было домовито и ласково”

Особенности стиля С.Н. Сергеева-Ценского

© А. В. ПЕТРОВ,
кандидат филологических наук

“Властителем словесных тайн” назвал М. Горький замечательного русского писателя Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875–1958). Его художественный язык живописен, выразителен, в нем преобладает поэтическое начало, предполагающее глубокий лиризм, повышенную эмоциональность, яркую образность, не случайно жанр многих своих прозаических произведений писатель называл поэмами или стихотворениями в прозе.

В послесловии к его собранию сочинений читаем: “Сергеев-Ценский – один из самых лиричных русских прозаиков, но его лиризм не расплывчат: ни красок, ни очертаний он не скрадывает. Его лиризм прозрачен, как воздух золотую осенью. Это сочетание двух принципов – красочности, плотности очертаний, с одной стороны, и лиричности – с другой, находит отражение в стиле Сергеева-Ценского, сочетающего

при выборе средств художественной выразительности конкретность и эмоциональность”.

Эти наблюдения можно применить и к окказиональным предикатам, которые выступают в качестве оригинального изобразительного средства в прозе Сергеева-Ценского. Предикативы на *-о* (или слова категории состояния) безлично-предикативные слова обладают немалым образным потенциалом, в них “выражаются дополнительные смыслы, яркие, неожиданные оттенки, окказиональная экспрессия” (П.А. Лекант).

Поэты часто создают новые предикативы или “дарят” эту необычную функцию привычным словам, чтобы точнее передать бесконечное многообразие состояний природы или внутреннего мира человека: *грезно, ленно, майно, северно, тундрово, южно* (И. Северянин); *безрольно, лыжно, холосто* (Е. Евтушенко); *яростно* (А. Дементьев); *бессонно* (В. Высоцкий).

Окказиональные предикативы встречаются и в прозе: *становилось все ночнее* (М. Горький); *кратко* (И. Бунин); *водно, лесно, рыбно* (Л. Леонов); *свинцово* (В. Панова); *освежающе* (О. Форш); *задумчиво* (В. Шукшин); *каменно* (С. Рассадин) [1].

Такие предикативы могут образовываться и от относительных прилагательных, к тому же, большинство окказионализмов имеет функциональные омонимы среди кратких прилагательных или наречий. Необычность и выразительность приобретается ими вместе с нетипичной для них функцией предиката безличного предложения.

В раннем творчестве Сергеева-Ценского нами обнаружено около 60 случаев окказионального употребления безлично-предикативных слов на *-о*.

Собственно неузualных предикатов писателем создано немного, в основном они образованы путем сложения основ наречия и прилагательного и описывают обстоятельства проявления того или иного состояния, как, например, в поэме “Печаль полей”: “Выпал он ночью этот снег, и теперь *стало лукаво-затаенно* везде, куда ни глядел Ознобишин” (курсив здесь и далее наш. – А.П.).

Подобные сложно-обстоятельственные предикативы встречаются и в романе “Бабаев”, характеризую непростой внутренний мир главного героя: “Бабаеву представились вздутые паруса, перевязанные концами: взметнулись, задрожали в воздухе и пропали, но от них *беспокойно-бело стало* в глазах”; “...*было тихо-радостно*, и такую же тихую радость чувствовал Бабаев”; “– Это мне не нужно! – сказал Бабаев, и почему-то *стало ощутимо-больно* в голове от сознания, что это не нужно, не важно, не то”.

Для точной передачи состояния писатель создает предикативы *сугробно* и *скрутно*: “Однако по-прежнему, по-старому, осенью здесь было чрезмерно грязно, летом чрезвычайно пыльно, зимою *сугроб-*

но..." (рассказ "Сказочное имя"), т.е. много сугробов, поэтому невозможно пройти. В рассказе "Устный счет": "А нашему брату, хотя бы и молодому, – куда податься! Везде *скрутно стало*" – т.е. трудно прожить, выбиться из нужды, найти хорошую работу, чтобы окончательно не "скрутило".

В северных говорах слово *сиверко* функционирует как существительное и обозначает "холодный северный ветер", однако у Сергеева-Ценского оно трансформируется в предикатив, эквивалентный значению "холодно, как на севере": "Стало темно, *сиверко*. Тонко-капельный дождик, надоедливый, сизый, захватил даль".

Наряду с другими выразительными средствами, формирующими уникальные пейзажные зарисовки писателя, свое место находят и окказиональные предикативы, как, например, несколько раз появляющееся слово *звонко*: "От солнца, заходящего за густую синь лесов, все кругом было жидкозолотое; горели одинокие межевые сосны, подымались вечерние, весенние галочки стаи, и от них *широко* и *звонко делалось* в вышине..." (поэма "Медвежонок") – так описывается простор и птичье многоголосье в небе; "Еще не вставало солнце, но *было уже перламутрово* и, как всегда в степи летом по утрам, – *звонко*" (повесть "Жестокость") – предрассветный мягкий свет и особый, едва уловимый утренний звон степи.

В романе "Бабаев" необычный для пейзажа предикатив *реже*: "Дождя уже не было, и было странно видеть, какой лучистый понизовый свет шел из-за далеких, очень мирных кудрявых облаков, где садилось солнце, – дробился в лужах, подымался под свалившую грозовую тучу, как под крышу, и спихивал ее дальше, чтобы *стало* просторней и *реже* кругом". В том же романе встречаем предикатив *изжелта-грязно*, обозначающий оттенок цвета: "Перед глазами *изжелта-грязно*. Пахнет смолою, как на пристанях..." Еще примеры: "На дороге еще торчали не обмолоченные колесами засохшие корявые кочки, и больно было ногам, обутым в веревочные лапти. Но кадили около какие-то большие розовые цветы на высоких столбах, и гудели под ними пчелы, отчего *было домовито и ласково*" (поэма "Лесная топь") – от пчел и цветов создается ощущение защищенности, как в доме, словно природа покровительствует путникам, дарит им ласку. "Ясный нарождался день; еще не приник к земле грудью, подходил издали, но уже *было свежо и бодро*" (повесть "Пристав Дерябин"); "И Бабаев думал о том, что нет уже ясной ночи с высоким небом, обрызганным звездами, что теперь темно, *нудно*, отовсюду лезет что-то гадкое, мокрое, навязчиво, без формы, без конца..." (роман "Бабаев").

Характерной чертой идиостиля Сергеева-Ценского является антропоморфизм: окружающая среда, природа одушевляются, наделяются чувствами человека, что создает особую образность словесной живописи. Приближение ночи, а вместе с ней и особого состояния природы, со-

относится с неторопливым осмыслением происходящего, отрешением от суеты, умиротворением, происходящим в душе человека: “За окнами смеркалось. <...> Чулось, что скоро *станет* свежо, *задумчиво, длинно*, – потом ночь. Звезды будут казаться высокими-высокими, *будет* тихо, подавленно *торжественно*, как около постели умирающего в большой семье”. Образ затянувшейся осени – никчемной, неприкаянной, потерянной – передается в поэме “Печаль полей” безличным предложением с пятью необычно употребленными однородными предикативами: “А когда остригут поля, как стригут нагулявших волну овец, сразу *становится* как-то *ненужно* и *пусто*, *жалко, принижено* и *робко*, и у осенних туч, как милости, просят поля закутать их с головы до ног снегом, чтобы не видеть смеющегося над ними неба”.

Предикативы, используемые писателем для описания обстановки в каком-либо помещении, часто передают эмоциональное состояние персонажей, как например, в поэме “Печаль полей”: “А в остальном доме – и в столовой, и в гостиной, и в спальне, и в комнате бабушки – *везде было шумно, болтливо, хлопотливо*: там жили”; “*Кругло и тепло* как-то было в гостиной от этих первых человеческих слов”.

Ощущения шестнадцатилетней Вареньки “показаны глазами” этой героини: “Очень нравилось Вареньке у Ольги Ивановны. Войдешь – обдаст геранью, это ведь только от герани в комнатах так тепло, и уютно, и *оранжереечно*”, – т.е. “как в оранжерее”. Дом для Вареньки олицетворяет уют, стабильность, спокойствие: “... в комнате [бабушки] *было* тихо, *желто*, тепло, лавандой пахло...”. А вот другой персонаж – Костя – испытывает чувство неловкости за свое социальное положение: “Дома – *скупо, тесно, грязно*, но Костя никому из чужих не жалуется на это: он стыдлив” (поэма “Недра”).

В поэме “Молчальники” особая атмосфера в монастыре противопоставлена бурным событиям мирской жизни: “... и в трапезной *было* так же *чинно*, как в церкви”; “В монастыре *было молитвенно* и тихо, и было грозно и бурно на улицах”.

Сергеев-Ценский нередко употребляет окказиональные безлично-предикативные слова в сравнительной степени: “Ушли рабочие, и *стало сосредоточенней, напряженней и тише* в усадьбе” (поэма “Печаль полей”); “И как будто стало вдруг меньше табачного дыма в комнате, – *яснее стало, строже, прямее*” (поэма “Движения”); “В чемодане и узле были книги, теперь они горами лежали на столе, на подоконнике, на стульях, и от них в комнате *стало осмысленней и теснее*” (поэма “Лесная топь”).

Окказиональный предикатив *странно* является для писателя излюбленным средством выражения состояния Бабаева, помогая передать ощущение потерянности, неприкаянности героя, его непонимание и неприятие того, что происходит вокруг: “*Стало странно*, точно подошел к исповеди”; “Было весело вглядываться в каждое встречное ли-

цо: каждое казалось занимательным и важным, потому что каждое было единственным – не было похожих лиц. Почему-то только теперь это ясно увидел Бабаев, и от этого *стало* радостно и *странно*, точно заглянул в бесконечность”.

Для точного изображения состояния человека в палитре выразительных средств Сергеева-Ценского обнаруживаются предикативы *пьяно, крепко, весело, звонко*: “*Было* немного *пьяно*, перед глазами мутно” (повесть “Пристав Дерябин”); “...на душе *было* радостно и в теле *крепко*” (поэма “Движения”); “От тепла и солнца *было* весело и *звонко* в теле” (там же); “...в нем самом как-то *шире стало* и *беспокойней*” (повесть “Пристав Дерябин”); “...*стало* как-то *робко* в Антоне Антоныче” (поэма “Движения”).

Окказиональные предикативы, часто выступающие функциональными омонимами привычных наречий и прилагательных, привносят в художественные тексты Сергеева-Ценского новый смысл, создают особый экспрессивный эффект.

Литература

1. Примеры взяты из монографий *Е.М. Галкиной-Федорук, В.В. Бабаицевой, А.М. Ломова*, а также исследований: *Ионова И.А.* Слова категории состояния в поэтической речи // *Языковые категории и закономерности. Пути их системного изучения. Вопросы русского языка и литературы: Межвузовский сборник. Кишинев, 1990. С. 95–101; Петров А.В.* Окказиональные формы безличности в поэзии Игоря Северянина // *Русский язык: номинация, предикация, образность: Межвузовский сборник научных трудов. М. МГОУ. 2003. С. 110–113.*

Архангельск

О языке “Старомодной комедии” А.Н. Арбузова

© Н. Ю. ТУРОВСКАЯ

Пьеса “Старомодная комедия” – это история поздней любви двух уже немолодых людей, за плечами каждого из которых своя сложная жизнь. Развитие их взаимоотношений строится по принципу мелодраматической синусоиды: вначале взаимная неприязнь, затем возрастающая симпатия, после – почти разрыв и лишь в самом финале – воссоединение.

Название пьесы – “Старомодная комедия” и ее жанр изначально подготавливают читателя (зрителя) к восприятию чего-то несовременного, вышедшего из моды и настраивают на так называемый ретро-мотив, ностальгический лад. К тому же в репликах главных героев звучат устаревшие или нарочито книжные слова, которые обычно не принято использовать в разговорной речи. По мнению Александра Свободина, «из речи героев драматург выметал обыденщину. В его пьесах говорят не “как в жизни”, как в бытии. Он хотел, чтоб узнавали не быт, но судьбу... Словарь его необычен, он выбирал редкие синонимы, которые можно сыграть» [1]. Проанализируем, какой подтекст вкладывал автор в эти редкие синонимы.

“О н а. Вообще-то они встречаются не часто – мужчины, достойные интереса. Такие все *приблизительные*. Ни то ни се! Поглядишь и подумаешь – ну что ж ты, радость моя, такой *неказистый, блеклый, тоскливенький*” [2] [Курсив наш. – Н.Т.].

Прямыми синонимами к слову *приблизительный* могут служить слова: *примерный, приближенный, ориентировочный*. Но для уточнения высказывания героини автор не прибегает ни к одному из них, используя, на первый взгляд, далекие по значению эпитеты. *Неказистый* – некрасивый; *блеклый* – увядший, потерявший яркость красок; *тоскливенький* – вызывающий чувство тоски. Этот ряд предваряет фразеологизм “ни то ни се”, который показывает, что авторская задача состоит в том, чтобы дать собирательный портрет современного мужчины, вызывающего жалость вместо уважения: ни рыба ни мясо, ни кожи ни рожи, бесхарактерность и безликость. Поэтому все три прилагательных употреблены здесь в значении “невзрачный”, что можно отнести и к слову “приблизительный”. Уничижительную окраску этого синонимического ряда усиливает эпитет “тоскливенький” (по аналогии с “плохонький”, “паршивенький” и т.д.).

Постепенно выясняется, что герои, в сущности, очень одинокие люди, но об этом Арбузов не говорит прямо, а опять-таки выстраивает оригинальный синонимический ряд:

“О н а. И представьте – мне тоже живется довольно весело. У нас в цирке соскучиться просто невозможно. Вокруг очень живой народ. И общественная жизнь кипит ключом... (*Помолчав*) Только вот *иногда* приходишь *вдруг* домой, и как-то никого нет... как-то *пусто*... Ну, *невесело как-то*”.

Заметим, что одновременно употреблены слова “иногда” и “вдруг”, и именно из-за этого достигнут “обратный эффект”: читатель догадывается, что Лидия Васильевна Жербер лукавит, и такое происходит в ее жизни, напротив, довольно часто, если не всегда. Далее. Когда “пусто”, не обязательно должно быть “невесело как-то”, если рассматривать его в значении “свободно, просторно, ничего не мешает”. Однако в данном случае “пусто” ближе по значению к “безлюдно, пустынно; ни (одной) (живой) души”, следовательно, “невесело” – здесь синоним слову “одиноко”, в то время как прямыми синонимами к нему будут: “печально, не радостно, грустно, безотраднo, тоскливо, горько” и т.п. Это еще один характерный для Арбузова пример индивидуально-авторского синонима.

Не менее интересное решение находит автор для того, чтобы сказать зрителю, что жены Родиона Николаевича давно нет в живых:

“О н (*внимательно поглядел по сторонам и сказал почти спокойно*). Ее нет.

О н а. Понимаю... Какая беда... Она *ушла* от вас... *Оставила*?

О н. Именно так, очень точное слово. *Оставила*”.

Синонимы к слову *оставить* – “бросить, покинуть, забыть, дать отставку (разг.)”. Зато *уйти* может использоваться в качестве синонима к слову *умереть*. Поэтому, когда герой говорит: “Ее нет”, он подтверждает значение слова “оставила” в смысле “умерла”.

В своем творчестве Арбузов больше всего тяготел к мелодраме, которой присуща именно такая лексика: патетическая, эмоциональная и почти уже вышедшая из употребления.

В пьесе А. Арбузова “Старомодная комедия”, как и в других его драматургических произведениях, авторская синонимия помогает создавать индивидуальные характеристики героев и психологический подтекст.

Литература

1. Свободин А. Парадокс о драматурге // Сказки... Сказки... Сказки Старого Арбата. Загадки и парадоксы Алексея Арбузова. М., 2004.
2. Арбузов А. Избранное. В 2 т. М., 1981. Т. 2.



Живописный портрет у современных авторов

© А. Р. ДАВЛЕТОВА

В русской литературе немало примеров, когда живописный портрет становился ключевым в сюжете произведения и в раскрытии образа героя: “Портрет” Н.В. Гоголя, портрет-икона в “Неуловимой чаше” В. Шмелева, живописные портреты в “Исповеди”, “Анне Карениной” Л.Н. Толстого, в “Фаусте” И.С. Тургенева, в “Братьях Карамазовых”, “Бесах” Ф.М. Достоевского и др.

В “малой” прозе второй половины XX века живописный портрет выступает только в качестве дополнительного средства характеристики персонажа: либо это плод творческого вдохновения художника (“Сонечка” Л. Улицкой, “Торопит коня человек” Г.В. Семенова); мечты самолюбленной героини (“Охота на мамонта” Т.Н. Толстой); повод для воспоминаний и размышлений рассказчика (“Акварельный портрет” Ф.Ф. Кнорре).

В повести Л.Е. Улицкой “Сонечка” [1] изображение прекрасного лица героини, выполненное ее будущим мужем (“портрет был чудесный, и женское лицо было благородным, тонким, нездешнего времени”), контрастирует с восприятием ее внешности окружающими (“долговязая, широкоплечая, с сухими ногами и отсиделым тощим задом”; “зад принял форму стула, а нос – форму груши”). Контраст внешнего и внутреннего

в облике героини подчеркнут и при назывании рабочих материалов художника: “портрет, написанный на *рыхлой грубоволокнистой* бумаге *нежной коричневой* краской, сепией” (Курсив наш. – А.Д.). И по мере узнавания Сонечки читатель понимает, что ее муж, как настоящий живописец и влюбленный человек, сумел разглядеть *подлинную* красоту ее образа: “он видел женщину, освещенную изнутри подлинным светом”.

В рассказе Т.Н. Толстой “Охота на мамонта” живописный портрет появляется лишь как плод фантазии героини. И по нему можно судить о ее самооценке, видении себя со стороны. Зоя представляет себя принцессой (“разве она не была принцессой, хотя и не узнанной”), звездой, ослепительной моделью для художника: “Зоян портрет-ню – везут в Москву. Выставка в Манеже. Милица сдерживает напор толпы. Вернисаж за границей. Портрет защищен бронированным стеклом. Впускают по двое. Воют сирены. Всем прижаться вправо! Входит президент. Он потрясен. Где оригинал? Кто эта девушка?..”. Живописное изображение (“портрет-ню”) героини не содержит описания ее внешних черт, но, судя по реакции на него окружающих, – это настоящий шедевр, при этом подчеркнута не заслуга художника, а красота и совершенство натуры. Так мечты Зои обнажают черты ее характера – завышенную самооценку, которая в дальнейшем приводит ее к внутреннему разладу.

В отличие от двух предыдущих рассказов, где живописные портреты героинь выступали преимущественно в качестве дополнительной характеристики их образов, акварельный портрет из одноименного рассказа Ф. Кнорре [3] содержит основную и единственную информацию о внешности героини, поскольку ее уже нет в живых, и повествование ведется ретроспективно. Искусно выполненный портрет девушки своей эстетической энергетикой поражает не лишенного художественного чутья героя-фотокорреспондента: “милое, серьезное лицо, сероглазое, так удачно схваченное художником как раз в то мгновение, когда уголки губ уже начали, еле дрогнув, первое движение улыбки”.

Об эстетической силе живописного портрета также говорит тот факт, что две фотографии (“усатого матроса в форме царского флота и двенадцатилетней девочки”), висевшие рядом с рисунком, заинтересовали героя меньше всего: на фоне достоверных снимков акварельный портрет девушки выглядит и воспринимается намного реалистичнее, затрагивая невидимые струны души наблюдателя, завораживая тайной человеческой личности: «такая чуткая настороженность, такая счастливая готовность вот-вот увидеть прямо перед собой что-то необыкновенно радостное было в ее взгляде, что Митя вдруг засмеялся и проговорил вслух: “О, ты милая какая!”».

Слушая историю жизни девушки, герой сопоставляет ее словесный образ с изображением: “Митя сосредоточенно старался представить себе лицо девушки с акварельного портрета, и, наконец, оно совсем у него слилось с рассказом о ее жизни, и ему стало грустно”. Он задумывается о

сложных перипетиях людских судеб, о значимости и ценности каждой из них: “С нежной грустью он смотрел и смотрел на портрет и все думал: ах эти старые портреты девушек, которые давно уже состарились, умерли! <...> О каких красивых, великолепных людях мы так ничего и не узнаем никогда?”.

В каждом из рассмотренных примеров живописное изображение, отражая истинную сущность образа героинь, являет собой эстетическую версию личности.

В отличие от картины, упоминание фотографии в современной прозе встречается намного чаще. У фотографии есть ряд явных преимуществ над живописью – ее достоверная документальность, технически легкий способ создания образа, моментальный процесс съемки, а живописная картина требует больших усилий и времени, восприятие фотоснимка также намного быстрее, чем созерцание живописного полотна. И, наконец, важная причина, объясняющая широкое распространение фотографии, – ее доступность. Недаром многие художники называли ее “живописью для бедных”.

В рассказах “Ника” В. Пелевина [4], “Соня” Т. Толстой [2], “Ищу Афродиту Н.” А. Столярова [5], “Моментальное фото на память” Е. Соловьевой [6] и др. фотопортрет героинь описывается единожды и, в основном, в начале повествования: герой или рассказчик, глядя на фотоснимок, в своих воспоминаниях постепено воссоздает женский образ и историю в целом, без присутствия самой героини: “я иногда... смотрю на стену, где висит ее случайно сохранившийся снимок” [4]; “вдруг раскроется, словно в воздухе, светлой живой фотографией – смотри скорей, пока не погасло!” [2]; “с фотографии же улыбалась, стоя на фоне живописных камней и обязательных барашков прибора, родная сестра моего отца, Мария” [6].

Информативность фотопортрета может быть разной. Например, в рассказе А. Столярова описаны две фотографии героини – “вертикальная и горизонтальная”, на которых достаточно подробно представлен ее портрет: “У нее безмятежное, я бы даже сказал, уверенное, без тревог и сомнений лицо. <...> Грива волос, спадающих на плечи, распахнутые глаза, губы, будто ожидающие поцелуев. Поверх блузки – ниточка цветных камешков или ракушек. Оказывается, она была просто красавицей” [5].

Примерам, где фотопортрет героини вводится в текст без ее непосредственного участия, а через восприятие ее изображения автором, героем, рассказчиком, второстепенными персонажами, можно противопоставить рассказы, в которых она сама демонстрирует свое фотоизображение: “Охота на мамонта” Т. Толстой [2], “Самая красивая в мире женщина” А. Филимонова [7], “Красная” М. Филатовой [8] и др.. Здесь фотопортрет появляется однократно, но уже в середине повествования, после основного словесного портретирования персонажа, поэтому информативность его невысокая. Скорее он вносит в описание героини по-

вые черты: например, в рассказе Т. Толстой “Охота на мамонта” из описаний фотоснимка Зои читатель узнает о таких особенностях ее внешности, как цвет волос, форма бровей: “каштановые кудри, брови коромыслом, взгляд строгий” [2].

В названных рассказах фотопортрет выступает объектом для самолюбования героини, ее самоутверждения в собственной красоте и превосходстве. Демонстрируя свое фотоизображение, она представляет себя, старается подчеркнуть свое совершенство и исключительность («фотографии она потом развешивала по всему дому и показывала всем мужчинам и женщинам с одним вопросом: “Правда, я лучше?” <...> и ждала ответа, вынуждала людей отвечать, что она, конечно, лучше» [7]; “Соня протянула мне несколько фотографий... и сама, видимо, восхищена этими снимками, потому что требует восхищения и от меня – правда, она красивая? Правда, ей нечего желать? некому завидовать?” [8]), или напоминает о себе, обращает на себя внимание: “свою фотографию... Зоя сунула Владимиру в бумажник: полезет за проездным или расплатиться, увидит ее, такую красивую, и вскрикнет: ах, что же это я не жуюсь?” [2].

Фотопортреты героинь, встречающихся в рассказах второй половины XX века, можно разделить на две основные разновидности: фотопортрет-воспоминание, выступающий отправной точкой в воссоздании образа персонажа, и фотопортрет-самопрезентация, позволяющий подчеркнуть особенности героини, в частности, ее самооценку.

Литература

1. Улицкая Л.Е. Сонечка. М., 2003.
2. Толстая Т.Н. Любишь – не любишь. М., 1997.
3. Кнорре Ф.Ф. Избранные произведения. В 2 т. М., 1984. Т. 1.
4. Пелевин В. Все рассказы. М., 2005.
5. Столяров А. Ищу Афродиту Н. // Знамя. 2005. № 2.
6. <http://www.guelman.ru/slava/texts/slovo1.htm>
7. Филимонов А. Самая красивая в мире женщина // Октябрь. 2003. № 12.
8. Филатова М. Красная // Знамя. 2005. № 3.

Нефтекамск

“День стирки и стихов”

© Л. Л. БЕЛЬСКАЯ,
доктор филологических наук

Когда в 1957 году поэт Евгений Винокуров написал, а затем напечатал в сборнике “Признания” (1958) стихотворение “Моя любимая стирала”, на него моментально откликнулись и литературные критики, и пародисты, упрекавшие и высмеивавшие автора за его барское любование нелегким домашним трудом героини.

Е. Винокуров описывал, как стирает его возлюбленная, ее внешность: как двигаются худые руки и плечи, как она что-то тоненько напевает; временами смотрит в окно, вешает сырое белье: “Чтоб пеной лба не замарать, неловко, локтем убирала На лоб спустившуюся прядь... Как жалок был ее затылок В смешных и нежных завитках”. Подмечены и черты скучного советского быта: “искала крохотный обмылок”, “от мыла, щёлока и соды в досаде шурилась она”. И хотя в конце поэт патетически восклицал: “Прекрасней нет на целом свете – Все города пройди подряд! – Чем руки худенькие эти, Чем грустный, грустный этот взгляд”, но испытывал не столько восхищение, сколько жалость и сочувствие к родному человеку (недаром повторяются эпитеты – *худые* и *худенькие*, *грустный*, *затылок жалок*).

Если винокуровское стихотворение трогательно и сентиментально, то “Стирка белья” Арсения Тарковского (1963) из цикла “Памяти М.И. Цветаевой” звучит трагически. Зачин “Марина стирает белье” перекликается с первой строкой Винокурова: “Моя любимая стирала”, но руки Марины названы рабочими, и характер героини иной: “В гордыне шипучую пену Рабочие руки ее Швыряют на голую стену”. Она тоже развешивает, но не белье, а платье. И окно упомянуто, однако за ним не “заката древние красоты”, а гудит самолет и воеет сирена воздушной тревоги в Москве 1941 года. А от вывешенного платья в комнате полутемно. И спустившиеся на лоб пряди волос Марина убирает иначе, чем винокуровская героиня:

Два месяца ровно со лба
Отбрасывать пряди упрямо,
А дальше хозяйка – судьба,
И переупрямит над Камой.

В финале у Тарковского вместо признания в любви к Марине – прощество ее гибели! И в стирке белья словно таится предсказание: рас-

пластянное платье – как распятие, а в наступивших потемках Марина выглядит, “как в речке на дне”.

В том же 1963 году было написано еще одно стихотворение на аналогичную тему – “Воскресенье” Натальи Горбаневской (самиздатовский сб. “Потерянный рай”, 1965). В нем также говорится о стирке.

День стирки и стихов: склоняюсь над тазами,
ворчу и бормочу, белье в руках кручу...

Этот труд не представляется поэтессе ни тяжелым, ни тягостным, ни нудным. Это скорее игра: белое белье кипятится в зеленом ведре, дрожит мыльная пена, в глазах качаются радужные круги, а на мокром поплине цветут розы и плывут по стенам, на стеклах, за окном. И одновременно рождаются радостные стихи, “вертятся во рту моем”. Правда, потом приходит усталость, “отяжелеют руки, и не в игру игра, и в горле как дыра”. Но стоит развесить белье, как вдохновение вернется.

И, протянув веревку посреди двора,
я с голосом своим не оттяну разлуки.

Если у Н. Горбаневской стирка не только не мешает вдохновению, но способствует ему, то другая молодая поэтесса – Марлена Рахлина в своей “Оде стирке”, опубликованной в ее первой книжке “Дом для людей” (Харьков, 1965), воспеваает эту домашнюю работу как творчество, превращающее “грязную кучу” в “теплую гору” одежды. “А может, в том-то и дело, Чтоб черное сделать белым, Чтоб грязное сделать чистым И лживое сделать честным”, и тогда то, что было чувством, станет делом. Она сама согласна прослыть “поэтом стирки”, так как ее руки знают и “лиру с благородными струнами”, и умеют стряпать, и мыть полы, и стирать тряпье (“Когда руки мои стихнут”).

Итак, перед нами четыре зарисовки, изображающие стирку белья. Мужской взгляд страдает занятой этой работой женщине. Отношение к стирке Горбаневской и Рахлиной другое. Это освобождение от грязи, игра с водой и пеной, разноцветьем красок, приносящая удовольствие. Не случайно Рахлина озаглавила свое стихотворение “Ода стирке”, а Горбаневская – “Воскресенье”, видимо, имея в виду воскрешение чистых вещей и рождение новых стихов.

*Цфат,
Израиль*



Китайские мотивы и образы в современной русской прозе

© Н. Г. БАБЕНКО,
кандидат филологических наук

*Москва – Пекин; здесь торжество
материка, дух Срединного царства... здесь
материк Евразии празднует свои
вечные именины.*

О. Мандельштам

Метафорическое выражение “Срединное царство” можно употребить применительно к тому топонимическому феномену, который возникает в связанных с китайской тематикой произведениях Дмитрия Липскерова, Юрия Буйды, Павла Крусанова, Виктора Пелевина.

Один из вариантов “Срединного царства” представлен в романе Д. Липскерова “Сорок лет Чанчжоэ” [1], в котором экзотическим для России китаеподобным именем назван русский городок. Пейзажная и предметно-бытовая лексика в первом эпизоде романа обладает этнической коннотацией (приращением смысла) “русскости”: “ствол тонкой березы”; “откос с песочными краями, под которым текла речка”; “бескрайнее поле, за полем дремучий лес”; “пригорок зарос лопухами и всякими цветами вразнобой”; “горячий самовар, пахнущий догорающими шишечками”; “связки с пшеничными баранками”. Но в этой типично русской местности расположен “старинный русский городок Чанчжоэ”. Читательское недоумение, вызванное неестественностью, неуместностью китайского названия в приложении к русскому городу, возрастает с введением в сюжет “куриного” мотива – миллионы прилетевших неведомо откуда кур заполнили это место, взяли его штурмом, как войска неприятеля: “Итак, 18 сентября в старинный русский город со странным, не имеющим перевода названием – Чанчжоэ – вошли куры”.

На первый взгляд, китайский “след” в лексической структуре романа случаен и редок: без очевидных сюжетных последствий упоминаются то

“большое китайское блюдо, расписанное эротическими сценками”, то “китайский бассейн”. Textoобразующим представляется не китайский, а “куриный” мотив: переживший шок от “вражеского” нашествия городок сыт и богат курами. И вот местный учитель раскрывает тайну названия города Чанчжоэ: “Куриный город – гласила расшифровка”. Так дикий топоним обретает семантику, вроде бы дающую ключ ко всему происходящему: куриному нашествию, превращению жителей города в “куриных мутантов” (у горожан как проявление “пернатого атавизма” прорастают куриные перышки). Но функция необычного для России топонима не сводится к построению фантастической “антропозоолинии” произведения: расшифровка названия города оказывается мистификацией “переводчика”, развешаются кто куда перепуганные “куриной болезнью” жители, ураган сметает с лица земли “старинный русский городок”. И читатель вправе задаться вопросом: а не стала ли причиной погубившей город мутации животворящая сила *слов* (пусть и ложных) “Чанчжоэ – Куриный город”?

Очевидно, это произведение может быть интерпретировано как художественная реализация тезиса философии деконструктивизма о том, что именно *язык* детерминирует человека и бытие, что именно и только *означающее* является ведущим в корреляции *означающее/означаемое*. В романе Липскерова именно слово “Чанчжоэ” и его квазиперевод способствуют реальному воплощению (естественно, условно реальному) мифологического представления китайцев о родстве курицы и человека: в мифах Южного Китая “курица выступает в роли творца; черная и белая куры откладывают по девять яиц каждая, из которых вылупляются, соответственно, плохие и хорошие люди” [2].

Таким образом, топоним с китайским “обликом” оказывается исключительно значимым в контексте романа. “Чанчжоэ” как бы обобщает в себе силы Востока: и корейскую диаспору городка, и зловещих монголов (“Монголы в тридцати верстах от города. <...> Россия не поможет – эта территория является спорной”). Липскеров разворачивает в романе ничтожно малый фрагмент русского пространства, в котором, как океан в капле, отражается Россия в гипотетической ситуации контаминации с Востоком. В городке так мало знаков русского и так много знаков Китая, Востока, что угроза русскому оказывается не только внешней (монголы), но и внутренней. Возможна и другая интерпретация: русский городок с китайским именем не имеет будущего. Иначе говоря, русско-китайская гармония недостижима.

В рассказе Ю. Буйды “Китай” [3] из плоскостного пространства географической карты реального Китая силой фантазии героя рождается объемное пространство некоего притягательного мифического мира. При этом его города и реки, сохраняя имена своих реальных “прототипов”, теряют топографическую определенность. Из топонимов, именуемых географические реалии действительно существующей страны, Янц-

зы, Хуанхэ, Бэйпин, Цзинань, Шанхай, Нинбо, Кантон, Чунцын, Чэнду, Чифу, Нанкин становятся в контексте рассказа экзотическими названиями мест обитания крылатых жителей неведомого мира – Китая: “Это была страна желтой земли и медлительных рек со сладкими золотыми рыбками. Янцзы, Хуанхэ. По берегам рек там жили люди с крыльями вместо лопаток. Почувяв приближение смерти, они прощались с родными и улетали на озеро Цилинг-Цо, где доживали остаток своей вечности – но живым путь туда был заказан. Китайцы никогда не путешествовали и не воевали, давно поняв, что пространство и время – это одно и то же <...> Друг к другу в гости они летали верхом на пышно-красивых фазанах. Питались яблоками и чаем, который рос в садах, подобно траве...”.

При этом существование *реального* Китая оказывается для героя рассказа неактуальным: “Какие-то чудеса ты рассказываешь, – сказала она. Разве такое бывает?

– А какая разница?... – не сразу ответил он. – Откуда ты знаешь, что такая страна вообще есть? Нету ее... Лет двадцать с собой эту картинку таскаю. Приколю где-нибудь к стенке – и вот я дома. В Китае. Чунцын, Чэнду, Чифу... С ума сойти!”

И все-таки картина мира-мечты выполнена в рассказе в китайских “красках”: это и лексика, называющая характерных представителей фауны и флоры Китая (золотые рыбки, фазаны, чай), и желтый цвет земли как специфический, символический цвет этой страны, и завораживающее героя звучание китайских топонимов.

В рассказе Буйды “Китай” “Срединное царство” рождается как русская фантазия по китайским мотивам. Пространство этого царства исключительно воображаемое, вход в него открывают ключи визуальные (через созерцание карты Китая) и аудиальные (через наслаждение музыкой китайских географических имен).

В романе П. Крусанова “Укус ангела” [4] китайский мотив реализуется через имена и историю рождения главных героев романа. Фамилия русского офицера Некитаев характеризуется как “будто сочиненная к случаю”, а имя Никита своим звучанием и непосредственным контактом с фамилией Некитаев провоцирует появление этимологии “некитайский”, дублирующей отрицание китайского мотива и тем самым актуализирующей этот мотив. Полюбив прелестную юную китаянку Джан Третью, дочь рыботорговца, он женился на ней. Их любовь, прервать которую не смогла и смерть, подарила миру двух детей-полукровок. Этот любовный союз может быть интерпретирован как согласное и “продуктивное” слияние России и Китая.

Имена детей – плодов русско-китайской любви – ориентированы на их бинациональное происхождение. Так, личное имя главного героя – Иван – титульное (вплоть до перехода в нарицательное: Иван = русский) для всего мира русское имя. Его фамилия – Некитаев – своей корневой частью прямо указывает на Китай как родину его матери, а отрицанием

(имплицитно, скрыто) – на Россию как родину отца. Главная героиня – родная сестра Ивана Некитаева – по-русски наречена Татьяной, но зовется в романе еще и “китайчатой Таней”, и “луноликой феей Ван Цзы-дэн”. Кровосмесительная связь Ивана и Татьяны Некитаевых заканчивается не только ломкой прежнего геополитического устройства мира, но и гибелью самого мира. Красивые, умные, гордые, жестокие, властолюбивые брат и сестра преступны вдвойне. Их взаимная страсть так же не удержима, как и владеющая ими жажда всемирного господства.

Иван Некитаев, став властителем полумира, получает прозвище Иван Чума: так неостановимо и смертоносно его продвижение к абсолютной власти. В его неумном стремлении к безраздельному господству над миром можно усмотреть характерную для китайского миропонимания конфуцианскую идею иерархизации мира, подчинения всех (народов, государств) одному – находящемуся на вершине пирамиды власти.

Сравнивая западную и восточную философии, исследователи замечают, что «в восточном менталитете отношение к мирской жизни более прагматичное, чем у русских. Об этом свидетельствуют такие устойчивые сочетания: “там, где грязь, кипит жизнь”; “где вода чиста, не бывает рыбы”; “благородный муж не должен избегать мирской грязи и не должен подражать образцам непорочного поведения” (Конфуций. Афоризмы старого Китая)» [5].

Император Иван Чума воспринял рекомендуемые древними китайскими паремиями поведенческие установки в самой утрированной, крайне циничной интерпретации, как и “китайчатая Таня”, амбиции которой в полной мере отвечают вождениям брата-возлюбленного: «Иван смотрел на нее – в зрачках мерцал убийственный огонь – и в глухом азарте оценивал ее готовность вновь покориться ему с прежней изнемогающей полнотой. Что ж, она была готова покориться. Но на этот раз без былого легкомыслия, без детской, зажмурившейся отваги. <...> Три года уже как следовало ей “установиться” (“Пятнадцати лет я устремился к знаниям... Мне было тридцать – я установился... Стукнуло сорок – и я не колебался...” – изрек на отчизне Джан Третьей Конфуций и обязал соотечественников к подражанию), так что теперь она потребовала бы не только пьянящей преступной забавы, но и соблюдения основательного интереса. А интерес ее ни много ни мало был таков – в своем пределе бытия она хотела невозможного. Она хотела славы жены государя У-ди, о красоте которой говорили: “Раз только взглянет – и рушится город. Взглянет еще раз – и опрокинется царство”. Причем желала этого буквально – по цитате. Таков был ее вклад в копилку вселенского вздора».

Таким образом, по Крусанову, русско-китайский союз может быть гармоничен и благороден (как любовь старших Некитаевых), но может быть и губителен для всего мира (как противоестественная страсть их детей друг к другу и мировому владычеству).

Тема взаимного притяжения России и Китая и его последствий своеобразно разрешается в романе Пелевина “Священная книга оборотня” [6]: в нем повествуется о любви русского волка и лисы-китайки. Оба героя – оборотни. Русский генерал ФСБ Александр Серый постепенно приобрел профессионально необходимый навык превращения в волка. Китайская лиса две тысячи лет обладает способностью оборачиваться прелестной юной девушкой “с азиатским личиком”. За генералом-волком – Россия (русский Север, нефть, вера в русского Бога, свои представления о патриотизме, верности присяге), за лисой – Китай с его тысячелетними традициями, историей, культурой и философией.

Конфликт двух культур обозначен в самом начале романа посредством постмодернистски раскованной словесной игры: автор обыгрывает омофоны – *А Хули* как русское нецензурное выражение и как *благородные* (*Хули* – китайский эквивалент русского слова *лиса*) имя и фамилия героини.

Эта несообразность – далеко не единственная в российском периоде жизни лисы-китайки: “Кто мог подумать в те дни, что моя благородная фамилия станет когда-нибудь бранным словом?”

Русско-китайская любовная история связана с цепью нисходящих перевоплощений героя, отраженных в мене его имен-идентификаторов. Первое звено этой цепи – “чужое” имя *Саша Белый*: “– Кстати, мы до сих пор не познакомились, – сказал он. – Александр. Можно Саша. Слышали про такого Сашу Белого? Ну а я – Саша Серый”. Интертекстуальный рефлекс выводит современного читателя на главного героя снижавшего огромную популярность сериала “Бригада” – обаятельного бандита Сашу Белого. Так скрыто заявлена “профессиональная” общность двух персонажей. Кстати, прозорливая в своих характеристиках лиса позже назовет возлюбленного “бригадиром мокрушников”. *Саша Серый* – еще антропоним, истинная природа героя пока скрыта, но механизм аллюзии уже запущен деталями внешнего портрета: “На пороге стоял высокий молодой человек в темном плаще с поднятым воротом. Он был небрит, хмур и очень хорош собой. <...> Еще у него был запоминающийся взгляд: эти серо-желтые глаза отпечатывались на чужой сетчатке и глядели оттуда в душу еще несколько секунд”. Портрет дополнен “сенсорной” деталью (“остановившись возле машины, молодой человек поднял голову – так, что его нос оказался направленным на меня, – и с силой втянул воздух. Выглядело это диковато”) и намеком-самопризнанием (“– В тебе что, нет страха перед звериным в мужчине? Перед мужским в звере?”).

Следующее звено цепи превращенный – традиционный русский эффемизм *серый*, появляющийся в эпизоде преобразования *Саши Серого* в волка: “– Я тебе серьезно говорю, серый, тормози...”. *Серого* сменяет интимно-ласковое *серенький* (“– Чего ты хочешь, серенький?”). Затем появляется *Alexandre Fenrir-Gray*: «Я специально написала не “Alexander”, а

“Alexandre”, на французский манер. Фамилию “Fenrir-Gray” я придумала в последний момент, в приступе вдохновения. Она уж точно звучала аристократично. Правда, сразу вспоминался чай “Эрл Грей”, из-за чего подпись чуть отдавала бергамотовым маслом, но все равно имя было одно-разовым». Действительно, такой “аристократический” антропоним встречается в тексте романа только один раз, но это имя не является *одно-разовым* по своей значимости в ряду имен-идентификаторов нашего героя: в нем объединяются предыдущие звенья номинационной цепи и отвечающий амбициям Серого мифоним *Fenrir* – имя сатанинского волка скандинавского мифа: “Это был самый жуткий зверь нордического bestiария, главный герой исландской эсхатологии: волк, которому предстояло пожрать богов после закрытия северного проекта”.

Чудовище сменяет *собака*: поцелуй любви превращает *Alexandre Fenrir-Gray* в “совершенно уличную, даже какую-то беспризорно-помоечную – собаку”. Но употребление сниженной лексики описания этой зоофазы превращения героя не обрывает ряд слов-идентификаторов inferнальной сущности персонажа: “То ли из-за цвета, то ли из-за острых напряженных ушей, словно ловивших далекий звук, в этом псе чудилась чертовщина: приходили мысли о воронье над виселицей, о чем-то демоническом...”

Дальнейшее звено в цепи номинаций представлено двумя именами: *Пес П.*, он же *Гарм*: «– И кто я?

– Я читала про такую собаку с пятью лапами. Пес П... Он спит среди снегов, а когда на Русь слетаются супостаты, просыпается и всем им наступает... Точно. И еще вроде бы в северных мифах его называют “Гарм”. <...> Такой жуткий пес, двойник волка Фенрира. Ярко себя проявит во время Рагнарека”.

Пес П.... уже упоминался в романе Пелевина «Generation “П”». Там это инвективное имя (имя-купюра, в отличие от “Священной книги оборотня”, где автор не прибегает к купюре) семантизируется дважды: через «детскую компьютерную идиому “гамовер”» (лексический трансформ английской фраземы game over) и посредством текста в тексте, подобно-го приведенному.

Предпоследний компонент описываемого номинационного ряда – *Саши Черный*. Так в соответствии с окрасом шерсти и – неосознанно – в соответствии с практикой действий подписывает свое письмо покинутой возлюбленной наш персонаж.

Наконец, последним звеном в цепи слов-идентификаторов является новое имя “товарища генерал-полковника” – *Нагваль Ринпоче*. Это фантазийное имя, мифоним новейшего времени, в котором, во-первых, “проглядывает” *Нагльфар* – “в скандинавской мифологии корабль, сделанный из ногтей мертвецов (намек на пять когтистых лап *Пса П.*...?); на нем мертвецы приплывают из царства мертвых хель, чтобы принять участие в эсхатологической битве” [7]. Во-вторых, концептуально значимое цве-

тообозначение “черный”: его корень будто зашифрован в уважительном буддистском “титуле” *Ринпоче*.

Итак, русско-китайская любовь и в бестиарном варианте не приносит благих плодов: она превращает русского волка в собаку сатаны и заставляет китайскую лису самораствориться в пустоте. Тем самым еще одна попытка создания “Срединного царства” как евразийского материка любви и согласия оказывается неудачной.

Четырехвековой диалог двух великих стран-соседей – России и Китая – стал почвой для возникновения богатого смыслами “китайского” текста русской литературы, лингвопоэтика современных страниц которого сочетает приемы обыгрывания концептуально важного квазикитайского топонима (“Сорок лет Чанчжоз” Д. Липскерова), трансформации семантики топонима (“Китай” Ю. Буйды), образования личных и прозвищных имен (“Укус ангела” П. Крусанова, “Священная книга оборотня” В. Пелевина), создания цепи антропозометифов (“Священная книга оборотня” В. Пелевина).

Литература

1. Липскеров Д. Сорок лет Чанчжоз // Новый мир. 1996. № 7–8.
2. Жюльен Н. Словарь символов. Челябинск, 1999. С. 206.
3. Буйда Ю. Китай // Буйда Ю. Прусская невеста: Рассказы. М., 1998.
4. Крусанов П. Укус ангела // Октябрь. 1999. № 12.
5. Борисов И.П. Проблемы взаимодействия двух культур // Общечеловеческое и национальное в философии: II Международная научно-практическая конференция КРСУ / Материалы выступлений. Бишкек, 2004. С. 313–314.
6. Пелевин В. Священная книга оборотня. М., 2004.
7. Токарев С.А., Мелетинский Е.М. Мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия. 1980. Т. 1. С. 384.

Калининград



ЗАМЕТКИ О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ И КУЛЬТУРЕ ОБЩЕНИЯ

© В. Э. МОРОЗОВ,
*доктор филологических наук,
кандидат педагогических наук*

Слово *культура* многозначно. С одной стороны, под культурой понимается весь духовный и материальный опыт человечества, познавать который можно до бесконечности. Это мировая культура и национальные культуры, в том числе культура того народа, язык которого является родным для человека. Языки, древние и современные, и созданные на них произведения так или иначе отражают эту культуру и сами относятся к ней. Этой культурой личность овладевает в процессе изучения мира.

С другой стороны, существует личная культура человека, под которой И. Кант понимал, во-первых, способность произвольно ставить самому себе цели, во-вторых, умение их осуществлять, используя необходимые средства, в-третьих, способность человека как свободного существа сделать самого себя конечной целью своего существования [1]. Эта культура формируется, взращивается в процессе воспитания личности, в частности, находит свое выражение в речевой деятельности человека, проявляясь в ней в виде того или иного уровня так называемой речевой культуры.

Между культурой человечества и культурой человека, в том числе его речевой культурой, существует несомненная связь, которая заключается в том, что цели индивидуума и выбираемые им средства их осуществления должны соответствовать культурным традициям народа и

общечеловеческим ценностям. Уровень владения обеими этими культурами в совокупности составляет культурную компетенцию человека.

Связь между личной и общей культурой прежде всего находит выражение в готовности человека овладевать общепринятыми правилами, в том числе и языковыми нормами. Наиболее очевидным образом эта связь представлена в аспектах культуры речи и культуры общения [2]. В области культуры речи можно наблюдать разные по силе своей обязательности нормы. Например, морфологические нормы русского языка, не считая ударения в словоформах, должны соблюдаться весьма тщательно. Отступление от них обычно считается очевидной ошибкой, явным признаком низкого уровня речевой культуры, например: “Вместе со всеми *людьми*” (вм.: *людьми*). Хотя и в этой области возможны постепенные изменения, например, уже давно свершившееся *костями* (*костми* сохранилось только в качестве фразеологически связанного варианта: *лечь костми*) и происходящее на наших глазах, все более активное даже на радио и телевидении использование формы *дверями*: “Переговоры прошли за закрытыми *дверями*”. В письменной публицистической речи, однако, устойчиво сохраняет свои позиции форма *дверьми*.

Менее обязательными представляются орфоэпические и акцентологические нормы. Этому способствует сосуществование трех вариантов литературного произношения (ново- и старомосковского, а также петербургского) и многочисленных говоров, вполне приемлемых в соответствующих местностях. Видимо, благодаря этому такие факты, как твердое, а не мягкое произнесение [д] в слове *деканат*, употребление [а] вместо [ы] в предударном слоге словоформы *лошадей*, не говоря уже о редуцированном произношении предударного слога в существительном *поэт*, да и такая передвижка ударения, как *Мы будем тверды́*, вм. *твёрды* воспринимаются не столько как ошибки, сколько как индивидуальная манера произнесения.

Какое отношение все это имеет к культуре? Дело в том, что человек, претендующий, если не на элитарный, то на среднелитературный уровень речевой культуры, должен стремиться знать языковые нормы, имея право отступать от тех из них, которые представляются ему факультативными, а, быть может, и устаревшими, поэтому не соответствующими реальным речевым потребностям; или сковывающими речь, требующими необоснованно пристального контроля за формой выражения мысли.

Полный отказ от соблюдения языковых норм приводит к фрустрациям, типа той, которая произошла в результате недавней попытки внедрить через Интернет (сайт udaff.com) фонетический принцип в русское письмо. Думается, что эксперимент закончился провалом. Так называемый “народ” воспринял идею как отмену всех правил, и вместо того, чтобы придерживаться какого-либо принципа, все стали писать, как заблагорассудится, руководствуясь единственным: чем чудней – тем милей: “Но ниутамимый Метвольт не успокоился и стал пристольно всматрива-

цо в неспокойные воды Омура, пака ево падчинённые с помашью динамита и багрофф изучали папуляцию дальневосточных карпавых и карпаабразных. И вот к какому выводу прешол. Пачти цытато". Читать такие тексты весьма затруднительно. Подобная демонстрация "неограниченно свободного", проще сказать, безответственного отношения к языку годится для игры [3], а не для серьезного общения.

В то же время у такого отношения к орфографии есть и объективные причины. Кроме практики школьного преподавания, не добавляющей любви к орфографии и пунктуации, следует отметить нелогичность многих правил. Почему, к примеру, *поодиночке* пишется вместе, а *в одиночку* отдельно? Вообще, из людей, получивших удовлетворительное школьное образование, мало кто поставит "а" вместо требуемого "о", разве что в редких непроверяемых словах. Например, практически никто не пишет *смешила* вместо *смешило*. Это подкрепляется грамматическими различиями, выражаемыми при помощи данных букв. Учащиеся легко усваивают правила об отсутствии запятых перед одиночным союзом "И" между однородными членами предложения. Не создает особых проблем раздельное правописание "НЕ" с глаголами.

В других случаях выбор слитного или раздельного написания "НЕ" подчас вызывает затруднения даже у самих филологов. С другой стороны, при любом выборе содержание фразы не вызывает затруднения для понимания, будет ли написано *не смешно* или *несмешно*. Правила целесообразны лишь в той степени, в которой они помогают носителям языка общаться, не принуждая нефилологов предпринимать анализ структуры слова или фразы там, где это не диктуется коммуникативными потребностями. Поэтому, если нефилолог не ставит запятые между повторяющимися союзами "И" или не утруждает себя размышлениями о слитном/раздельном написании "НЕ", в этом стоит видеть не признак низкой культуры, а вполне естественное для неспециалиста отношение к языку именно как к *средству общения*.

Важную роль культурный компонент играет в усвоении слов. Причем, речь идет не только об иноязычных словах, которые отражают новые понятия, но и о так называемых агнонимах, имеющих исконные архаичные значения, но в настоящее время употребляющихся в иных, вторичных, значениях, например: *быдло*, *вертеп*, *злачный*. Кроме того, важно точно понимать смысл слов, отражающих реалии, плохо осознаваемые многими современными людьми. Сюда относится, например, семантическая разница между существительными *дьяк(он)* и *дьячок*; *село* и *деревня*; *храм*, *церковь*, *собор*.

Что касается иноязычных слов, то необходимо избирательное отношение к ним с точки зрения целесообразности применения заимствований. Употребление одних из них, таких, как *гастарбайтер*, оправдано актуальностью явления и отсутствием русского слова для его точного обозначения (ср., например, двусмысленное сочетание *иностраннный ра-*

бочий). Другие же нежелательны. Их использование провоцирует непонимание или даже ложное понимание высказывания или ситуации. Например, в одном из телевизионных репортажей прозвучало примерно следующее: “Засилье крыс привело к появлению в Англии новой профессии – *деретезаитора*”. Если вспомнить русское существительное *крысолов*, то сомнение возникает не только в необходимости употребления варваризма, но и в том, что в данном случае следует говорить о возникновении новой профессии, а не о возрождении ранее существовавшей.

Примером неудачного употребления иноязычного заимствования может послужить фраза, сказанная писательницей Арбатовой генералу милиции в телепередаче Вл. Соловьева “К барьеру”: “Вчера у меня состоялась *коммуникация* с двумя сотрудниками ГИБДД”. На настойчивую просьбу генерала объяснить, что имела в виду писательница, употребляя слово *коммуникация*, а не *общение*, последняя ничего понятного ответить не смогла. Наконец, некоторые заимствования вообще нежелательны в силу их особенностей в самом языке-источнике. Так, широко употребляющееся сейчас слово *путана* является не чем иным, как грубым, нецензурным существительным из испанского языка.

Особая проблема – использование жаргонных слов, большинство из которых порождено стихией так называемых субкультур. Оставаясь в пределах этих субкультур, такие слова не представляют собой опасности. Но, врываясь в повседневную речь, они засоряют ее, особенно те, которые омонимичны словам литературной лексики, делая двусмысленным ее употребление и тем самым обедняя литературный язык. Например, глагол *кончать* в своем прямом значении выражает прекращение некоторого действия без указания на то, было ли действие доведено до результата. В отличие от этого глагол *заканчивать* подчеркивает достижение результата, в силу чего в некоторых случаях эти синонимы могут становиться контекстными антонимами (*Кончай работу!!/Заканчивай работу*). Повсеместное употребление глагола *кончать* в сексуальном смысле фактически привело к его вытеснению из литературного употребления, вплоть до того, что представители молодого поколения, особенно девушки, предпочитают говорить: “*Заканчивай шутить*”; “*Заканчивай сидеть*”; “Я сразу *закончила* разговаривать, как только вы мне сделали замечание”, грубо нарушая сочетаемость лексики.

Подобное переосмысление литературных слов в речи молодежи отмечал еще А.П. Чехов. Но в нашу эпоху оно приобрело, можно сказать без преувеличения, агрессивный характер, разрушительный для нормального выражения мысли. Возвращению слов в их истинные значения может способствовать анализ отрывков из художественных произведений, в которых они употребляются: “Я раньше начал, *кончу* ране, / Мой ум не много совершит...” (Лермонтов. “Нет, я не Байрон...”), а также пословиц, например: *Кончил дело – гуляй смело*.

Наиболее явно связь языка с культурой проявляется в аспекте культуры общения, особенно с точки зрения речевого этикета. Нетрудно заметить, что не только юноши, но и девушки затрудняются, а зачастую и не озабочиваются тем, чтобы, общаясь, проявить вежливость к собеседнику. Большинство молодых людей ко времени окончания средней школы усваивает лишь элементарные приветствия типа *Здравствуйте, До свидания*, и “волшебные слова” *Спасибо, Пожалуйста*, ориентируется в выборе *Ты-* и *Вы-*форм. Большого разнообразия в употреблении средств речевого этикета не наблюдается. О следовании “максимам общения” [4], таким, как требование подчеркивать доброжелательность к собеседнику, и говорить не приходится! Например, несогласие с мнением собеседника молодые люди, не задумываясь, выражают высказыванием *Нет!*, не пытаясь использовать другие возможные средства, такие, как *Да? Но ведь... А я думал(а), что... А как же в таком случае...?* Думается, что обучать этому нужно уже старшеклассников, чтобы, вступая во взрослую жизнь, они владели основами культуры общения.

Безусловно, овладение речевым этикетом должно сопрягаться с изучением основ этикета в широком смысле этого слова. Например, известно, что при официальном знакомстве женщина, как правило, сама называет свое имя, мужчину же можно представить по имени. Мужчина должен обмениваться рукопожатием не только с представителями своего пола, но и с женщинами. Однако при первом знакомстве женщина подает ему руку первой, чтобы он знал, соответствует ли соприкосновение с чужим мужчиной ее религиозным убеждениям, или нет. Нелишнее также отметить, что представители некоторых национальностей, например, японцы, предпочитают обходиться без рукопожатия, ограничиваясь поклоном. Умение сделать уместный поклон тоже желательно выработать вместе с изучением этикетных средств приветствия/прощания и знакомства.

Особую роль аспект культуры общения играет в профессиональной подготовке преподавателей. Общаясь со своими учащимися, преподаватель должен не только соблюдать максимы общения, но и творчески подходить к ним: знать, в каком случае необходимо кратко, в каком более пространно выразить свою мысль, когда похвалить учащегося, когда сделать ему замечание, в каком случае выразить свою мысль публично, в каком приватно, по поводу чего высказаться мягче или, наоборот, тверже, что можно и нужно обсудить с учениками, а о чем лучше промолчать. Кроме того, преподаватель должен проявлять терпение и личную доброжелательность по отношению к ученику в любых ситуациях. Эти умения достигаются специальной тренировкой, но для ее сознательного осуществления необходим высокий уровень личной культуры, в первую очередь духовно-нравственной, а также знание психологии и педагогики.

Литература

1. Кант И. Соч. в 6-ти т. М., 1963–1966.
2. Морозов В.Э. Культура русской речи как национальное достояние и как учебный предмет // Филология и культуроведение: Наука, практика, преподавание: Материалы Научных чтений памяти академика РАО Ю.В. Рождественского. / Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина. М.: Флинта: Наука. 2006. Вып. 1. С. 39–51.
3. Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Старые мехи и новое вино: Из наблюдений над русским словоупотреблением конца XX в. С.-Пб., 2001.
4. Формановская Н.И. Культура общения и речевой этикет. М., 2004.



Ко- новая приставка?

© Е. А. ЛЕВАШОВ,
кандидат филологических наук

Известно, что в процессе заимствования из языка в язык переходят не отдельные части слов, а слова целиком. Выделение их общего структурного компонента из некоторого количества иноязычных слов происходит уже на новой языковой почве. Так в русском языке появились пришлые приставки *би-, гипер-, де-, интер-, пост-* и др. – 18 из 87, то есть пятая часть общего количества приставок [1]. Приставки, суффиксы, соединительные гласные, окончания, частица *ся (сь)* при возвратных глаголах, префиксоиды и суффиксоиды (около 800) – вот те счетные структурные кирпичики (помимо главных и бесчисленных – корней, обеспечивающих основной смысл слова), из которых строятся русские слова. И все они, как и всё в языке, находятся во временном движении и изменении.

В последние десятилетия в русский язык извне пришла и укрепилась в нем приставка *ко-*. Первоначально она обслуживала профессиональные интересы: “Белковую часть двухкомпонентного фермента называют часто апоферментом, а небелковую *коферментом*” [2]; “Система состоит как бы из двух частей: одна фракция содержит несколько различных белков, другая – низкомолекулярное соединение, так называемый *кофактор*. Их совместное действие... как раз обеспечивает необратимое разложение глутаминовой кислоты” (Наука и жизнь. 1988. № 12).

С нынешним усилением межъязыковых связей слова с этой приставкой переходят в лексику общего употребления: «Был он и *копродюсером* каннского успешного “Влюбленного повара”, а сейчас с продюсерской компанией... запускает новый проект А. Митты» (Общая газета. 1996. № 35); “Чем объяснить включение в список фильма Иоселиани, сделанного в *копродукции* четырьмя компаниями” (Веч. Петербург. 1999. 26 марта); «Мы могли бы предложить провести осенью в Москве международную конференцию с участием всех заинтересованных сторон, в том числе “четверки *коспонсоров*”, – сказал российский лидер» (С.-Петерб. ведомости. 2005. 28 апр.).

Как видим, все приведенные слова с *ко-* – нерусского происхождения: англ. *coproduction, cofactor, cosponsor*; франц. *coproduction*. И в то же время они легко структурируются на русской почве: их опорная часть – тоже заимствованные, но давно обрусевшие, наши слова: *спонсор, продюсер, продукция, фактор, формант* и даже – *принцип*: «Для защиты интересов населения с 1419 года существует [в Андорре] “совет двух долин” – про-

образ парламента, не имеющего права выступать против викариев, представляющих “*копринцев*”. Ими являются президент Франции и епископ испанского города Соо-де-Уржел» (Лит. газета. 1988. № 11). Следовательно, *ко-*, хотим мы этого или нет, не может не восприниматься в современном русском языке как новоявленное приставочное образование.

Древнерусский язык знал приставку *ко-*, но в единичных случаях (*конура* и др.). Сегодняшняя же приставка *ко-* – трансъевропейский приставочный элемент: лат. (первоначально), затем – англ., франц., исп. *со-* в значении “общий, совместный”. В русском языке ему соответствует приставка *со-* с тем же значением: *сожитель, сопредседатель, соединение, сотоварищ, сопродюсер* и под.: «Кинотеатр “Аврора” начал показ нового фильма “Богиня: как я полюбила”. В нем Рената Литвинова выступила в четырех ипостасях – сценариста, режиссера, исполнительницы главной роли и *сопродюсера*» (С.-Петербург. ведомости. 2004. 5 окт.). Русская приставка *со-* и заимствованная *ко-* идентичны по функции, но дальнейшая судьба *ко-* – пока в неясной перспективе.

Приставка *ко-* лишь с недавних пор стучится в нашу дверь. Она еще не отмечена в современных грамматиках и словарях, хотя в некоторых текстовых ситуациях начинает теснить свою русскую родственницу. Ее появление, повторяем, мотивировано заимствованными словами, соответствующими некоторым зарубежным, а затем и нашим реалиям. И в сегодняшний инвентарь русских словообразовательных средств она должна быть включена как ее живая часть (88-я приставка).

Литература

1. Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
2. Сорвачев К. Биологическая химия. М., 1971.

Санкт-Петербург

Лень в жизни и в русской речи

© Е. А. ПОПОВА,
доктор филологических наук,
© А. Ю. СКРЫЛЬНИКОВА

В Словаре русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой *лень* в своем прямом значении определяется как: “отсутствие желания работать, делать что-либо”; в качестве оттенка этого смысла приводится “состояние вялости, сонливости” [1. С. 175]. Но есть еще одно значение, в котором данное слово употребляется как сказуемое и которое носит разговорный характер: “не хочется, нет охоты” [1. С. 175]. Интересно, что второе значение слова реализуется в одном из его синонимов – *неохота*, ведь *неохота* – это и есть отсутствие охоты, это когда “не хочется, нет желания (что-либо делать)” [1. С. 462].

В качестве основного синонима к слову *лень* приводится слово *неохота* в Новом объяснительном словаре синонимов русского языка под редакцией Ю.Д. Апресяна [2]. Правда, данные синонимы отличаются друг от друга. Например, если говорящему не хочется тратить силы, то используется слово *лень*, если же результат предполагаемых действий не стоит усилий вообще, то это *неохота*. В слове *лень* важна идея затраты усилий, *лень* – это прежде всего недостаток активности, отсутствие желания делать что-либо вообще, независимо от того, что именно необходимо сделать. Если человеком овладела *лень*, его душа или тело могут оказывать в ответ на побуждение к деятельности гораздо большее сопротивление, чем если человеку просто *неохота*. Получается, что слово *лень* выражает общее, объемное понятие. Это настолько масштабное представление о состоянии человека, что справиться с ним (с состоянием) довольно трудно.

Лень может проявляться в трех состояниях человека: 1) состояние тела, или так называемая “физическая” *лень*; 2) состояние души, или “душевная” *лень* и 3) состояние ума (“умственная” *лень*). “Телесная” *лень* – это состояние физической расслабленности, истомы или оцепенения, если человек засыпает, ему жарко или холодно. Такую *лень* заметно даже со стороны, человеку трудно сделать даже малейшее усилие, хотя в обычном состоянии это усилие было бы незаметно.

“Душевная” *лень* выражается в параличе воли, когда человек не может заставить себя собраться и побудить себя к какому-то действию, причем неспособность побудить себя к деятельности может быть избирательной, относиться только к конкретному действию. По мнению неко-

торых исследователей, в сознании человека есть представление “о жизни, в соответствии с которым активная деятельность возможна только при условии, что человек предварительно мобилизовал внутренние ресурсы, как бы сосредоточив их в одном месте (как бы *собрал* их воедино). Чтобы что-то сделать, надо *собраться с силами, с мыслями* – или просто *собраться*” [3]. Таким образом, главное для человека – *собраться*, тогда он может многое, может “горы свернуть”; но если человек не может *собраться*, тогда им овладевает чувство *лени* (и наоборот, когда *лень* завладела человеком, он не в состоянии заставить себя *собраться*).

“Умственная” же *лень* – это некое состояние ума, некая рациональная установка, нежелание человека совершать действия, лишённые смысла.

Исследователи говорят о существовании идиомы *русская лень* [4]. Подобное сочетание настолько же выразительно, как и сочетания *русская душа, русский авось. Русская лень* должна быть не вялой и сонной, а мечтательной. Достаточно яркие примеры употребления идиомы *русская лень* можно встретить в романах:

Звон бубенчиков трепетно может
Воскресить позабытую тень,
Мою *русскую душу* встревожить
И встряхнуть мою *русскую лень*.
(А. Кусиков. Бубенцы)

Как видим, в данном примере сочетания *русская душа* и *русская лень* употребляются в одном контексте, как нечто единое, обязательно присущее русскому человеку.

В Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля отсутствует толкование слова *лень*; зато есть объяснение синонима *неохота*: “нежеланье, нерасположение, неготовность на что; отсутствие побуждения, хотенья сделать что-либо” [5. Т. II]. Таким образом, толкование слова *неохота* практически совпадает с толкованием слова *лень* в Словаре русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой. Следовательно, можно говорить о том, что В. Даль употребляет слово *неохота* в значении *лень*, несмотря на то, что одно из значений слов *неохотность, неохоть, нехоть* – “отсутствие радушия, услужливости”, что не входит в структуру лексического значения слова *лень* в современном русском языке.

В качестве своеобразного синонима *лени* в противопоставление работе, труду у В. Даля можно выделить *праздность*. Именно *праздность* он противопоставляет работе, определяя ее как “состояние по прилагательному *праздный*”, а *праздный* – как “гуляющий, шатуший, без дела, ничем не занятый или ничем не занимающийся, шатун, баклушник, лентяй (о человеке)” [5. Т. III].

С одной стороны, *лень* представляет собой плохое свойство, которое мешает человеку реализовать себя в жизни. Некоторые слова русского

языка выражают эту отрицательную оценку (*лодырь, лоботряс, леньность, лентяй, лентяйка, лентяйство, лентяйничать*), тогда как другие слова, содержащие в себе идею *лени*, окрашены некоторой симпатией (*ленца, ленивенький, ленивенько, ленивец, ленивица, лениветь, лениться, залениться, излениться, излениваться, поизлениться, полениваться, прилениться* и т.д.).

В русской поэзии *лень* часто передается как состояние, родственное вдохновению, помогающее отрешиться от житейской суеты. Особенно отчетливо такое восприятие *лени* обнаруживаем в стихотворениях А.С. Пушкина. Для великого поэта *лень* счастливая, блаженная, веселая; *лень* олицетворяет собой творческое состояние:

Друзья! Вам сердце оставляю
И память прошлых красных дней,
Окованных счастливой ленью
На ложе маков и лилей...
(Мое завещание друзьям)

Идеал жизни не воспринимается вне *лени*, она присутствует как обязательная составная часть счастливой жизни.

Здесь, розовой денницы
Не видя никогда,
Ленясь под одеялом,
С Тибурским мудрецом
Мы часто за бокалом
Проснемся – и заснем.
(Послание к Галичу)

Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою,
С любовью, ленью провел веселый век...
(Моя эпитафия)

Еще хоть год один
Позволь мне полениться
И негой насладиться, –
Я, право, неги сын!
(К Дельвигу)

Иногда *лень* как качество человека носителями языка оценивается негативно: “Стоит Иоська где-нибудь поодаль и хнычет *лениво* и *противно*, а сам зорко следит за всяким движением матери” (Гарин-Михайловский). Здесь *лениво* и *противно* соединяются в одно целое и выражают отрицательное отношение к этим характеристикам. Тем не менее человек ленивый в русском обиходе совсем не обязательно осуждается: “Еремей..., высокий, одноглазый, добродушный и ленивый хохол, – Ере-

мей говорит, что Гнедко бегают так шибко, что ни одна лошадь в городе его не догонит" (Гарин-Михайловский). Заметим, что в данном примере слова *ленивый* и *добродушный* сочетаются и содержат в своем значении положительную оценку.

Пословицы и поговорки также отражают неоднозначное отношение русского народа к лени. Условно все пословицы, противопоставляющие работу и праздность, можно было бы разделить на три группы:

1) пословицы, характеризующие состояние человека, называемое словом *лень* (*Послал Бог работу, да отнял черт охоту; Работа с зубами, а леность с языком; Хочется есть, да не хочется лезть* [в подполье]; *Ехал бы воевать, да ленив вставать; Шел бы воевать, да лень сабли вынимать; Проглотить-то хочется, да прожевать лень* [6.] и др.). Здесь *лень*, *леность*, *неохота* характеризуются как некое состояние, не зависящее от воли человека, но до такой степени сильное, что справиться с ним не представляется возможным. *Лень* овладевает человеком, ему не хочется делать ничего, даже жизненно необходимые вещи;

2) пословицы, выражающие осуждение, отрицательное отношение к лени, праздности как к свойству или качеству человека: *Скучен день до вечера, коли делать нечего; Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет; Праздность – мать пороков; Без дела жить – только небо коптить; У ленивого что на дворе, то и на столе* (ничего); *Лень мужика не кормит. Станешь лениться, будешь с сумой волочиться; Труд человека кормит, а лень портит* [6]. В подобных пословицах *лень*, *праздность* противопоставляются труду, работе и непременно осуждаются, оцениваются отрицательно;

3) пословицы, в которых выражается внутреннее желание человека отдыхать, ничего не делать, невозможность собраться и заставить себя что-то сделать. Эта группа пословиц формулирует неоднозначное отношение к лени, *лень*, которая здесь воспринимается уже не как нечто отрицательное, не как порок и недостаток, а как нечто близкое внутренним побуждениям человека. В этом случае *лень* не осуждается: *Пилось бы да елось, да работа на ум не шла; День к вечеру, а работа к завтраму; Всех дел не переделаешь; Нашей работы не переработаешь; Работа не черт, в воду не уйдет; У Бога дней впереди много: наработаемся; Из лука – не мы, из пицали – не мы, а попить, поплясать – против нас не сыскать; Кто долго спит, тому Бог простит; Большие спишь – меньше грешишь; Кто спит – не грешит; Ретивая лошадка недолго живет; От работы не будешь богат, а будешь горбат* [6].

Таким образом, *лень* для русского человека являет собой какое-то особое качество, состояние, чаще всего не зависящее от него и способное поражать как его тело, так и душу. В его сознании закрепилось весьма противоречивое представление о лени. С одной стороны, это нечто вредное, порок, недостаток. С другой стороны, в языке находит свое отражение и несколько иное понимание лени: как нечто родное, неотъемлемое

свойство русского человека, один из возможных способов его жизни. Тогда лень являет собой нежелание работать в силу того, что человек четко понимает, что достижение идеального, совершенного результата невозможно. Следовательно, ему незачем и стараться. И лень уже представляет собой некий способ избежания греха в земной жизни, возможности жить высшими помыслами и не опускаться в заботы и суету.

Безусловно, представления русского человека о лени, заключенные в его сознании, не могут не найти своего отражения в русском языке.

Литература

1. Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1983. Т. 2.
2. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим рук. Ю.Д. Апресяна. Вып. 1. М., 1999. С. 166.
3. Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины // Отечественные записки. 2002. № 3. С. 259.
4. Зеленин А.В. Русская лень // Русский язык в школе. 2005. № 5.
5. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. М., 1989. Т. II. С. 526–527.
6. Даль В. Пословицы русского народа. СПб., 1996. Т. 2. С. 252–269.

Липецк

СЛОВО ДИПЛОМАТА

© МОХАММАД ШАРАФЭЛЬДИН

“Дипломатия – наука письменная”, – говорил один дипломат, имея в виду, что значительную часть времени дипломат проводит за письменным столом. Большую часть времени он тратит на внутреннюю переписку со своим правительством и министерством иностранных дел: политические письма, шифротелеграммы, различного рода справки, характеристики, предложения, записи бесед, проекты заявлений и речей на переговорах и пресс-конференциях, памятные записки, тексты соглашений и договоров и т.п., а также на дипломатическую переписку с правительством и министерством страны пребывания (ноты, заявления, меморандумы, коммюнике и т.д.).

Стиль этих двух видов документов значительно различается. Если во внутренней переписке необходимы краткость, четкость, недвусмысленность, то для собственно дипломатических текстов характерны другие качества, такие, как соблюдение осторожности, такта, сдержанности, знание специфических фраз и терминов, принятых в дипломатическом языке, и, наконец, учет политики страны пребывания, ее культуры, обычаев и порядков.

При нынешней глобализации язык дипломатии стал одним из жанров делового стиля, имеющим свою систему терминов. Правила дипломатической вежливости выработали определенные формы начала и особенно концовок различного рода дипломатических текстов.

Для синтаксиса языка дипломатии характерны длинные предложения, развернутые периоды с разветвленной союзной связью, с причастными и деепричастными оборотами, инфинитивными конструкциями, вводными и обособленными предложениями. Нередко текст состоит из отрезков, каждый из которых выражает законченную мысль, оформлен в виде абзаца, но не отделен от других точкой, а входит формально в структуру одного предложения. Такое синтаксическое строение имеет, например, преамбула (вводная часть) Устава Организации Объединенных Наций.

Дипломатический язык значительно отличается от журналистского, иногда эмоционального, многословного; он отличен и от языка художественной литературы, более образного, свободного.

В книге “Техника дипломатии” немецкий ученый Вильнер пишет: “Дипломатический стиль отличается, прежде всего, простотой и ясностью, под этим подразумевается не простота ремесленнического способа выражения, а классическая форма простоты, которая умеет выбирать

при каждом предмете единственное подходящее для данных обстоятельств слово”.

Для дипломатического языка характерны не только точность описания фактов, но и ясное, сжатое изложение: “Тому, кто не обладает даром письменного слова или не выработал навыков дипломатического стиля, едва ли целесообразно идти в дипломаты” (В.И. Попов).

Как для воинов основным их орудием является оружие, так для дипломатов – слово. И если, например, в Древней Греции главным в международных отношениях было устное слово, то в последние века и в настоящее время все более важное значение приобретает слово письменное. Один из министров иностранных дел Франции (Жобер) говорил, что “для внешней политики и дипломатии слово играет не меньшую роль, чем действие, а, возможно, даже и большую”. Слово в дипломатии уже само по себе является действием.

Известны случаи, когда из-за небрежности в языковом оформлении дипломатических документов или служебных сообщений, из-за нескольких слов происходили не только недоразумения, но и серьезные инциденты. Речь – могучее средство воздействия на психику человека. И эта функция – одна из наиболее древних.

В России многие писатели, литераторы, публицисты занимались дипломатической деятельностью. Достаточно сказать, что сам А.С. Пушкин принадлежал к Министерству иностранных дел, сотрудничал в архивном управлении, роль которого была тогда очень значительна – там готовились проекты внешнеполитических документов, договоров, соглашений. Был он и переводчиком Коллегии иностранных дел.

Знаменитый автор “Недоросля” Д.И. Фонвизин состоял на службе у министра иностранных дел Н.И. Панина при Екатерине II и ведал перепиской МИДа с российскими представителями при европейских дворах. Замечательный русский поэт Ф.И. Тютчев 22 года провел на службе в заграничных представительствах России, а потом служил в Министерстве иностранных дел. Выдающимся российским дипломатом первой половины XIX века был российский посол в Персии, автор знаменитой комедии “Горе от ума” А.С. Грибоедов.

В Министерстве иностранных дел, а затем в русской миссии в Германии служил А.К. Толстой, автор знаменитого романа “Князь Серебряный”, а также многих стихотворений и афоризмов (в соавторстве со своими двоюродными братьями) под псевдонимом Козьма Прутков.

Русским послом в Мадриде был известный русский писатель И.М. Муравьев-Апостол, отец братьев-декабристов. Не был писателем, но блестяще владел словом один из виднейших дипломатов России, личный друг Пушкина, министр иностранных дел России (1856–1882) А.М. Горчаков.

На литературном поприще проявили себя и многие советские дипломаты, оставив свои мемуары, научные и публицистические произведе-

ния. Среди них И.М. Майский, А.А. Громыко, А.Ф. Добрынин. Народный комиссар Г.В. Чичерин любил сам писать дипломатические документы, которые читаются, как замечательные литературные произведения. А среди любителей музыки до сих пор популярна его книга о Моцарте. Наш современник Е.М. Примаков, академик РАН, известный арабист, в недалеком прошлом министр иностранных дел, также является автором многих книг, в том числе книг о Египте, Каире.

То же можно сказать о ряде иностранных дипломатов, например, самый известный министр иностранных дел Судана и премьер-министр (1967), Мохмад Ахмед Эль махджуб, был блестящим оратором, поэтом, писателем, автором многих книг. Ему принадлежат сборники стихов "Потерянный Рай", "Демократия на весах" и мн. др. Он славился также своими увлекательными докладами на красивом арабском и превосходном английском языках в ООН в начале 50-х годов, в период борьбы Судана за независимость, которую страна получила также и благодаря ораторскому мастерству таких деятелей, как Эль махджуб. После обретения независимости первыми дипломатами в Судане были поэты Мубарак Зару, Джамаль Мохамад Ахмед, да и в настоящее время многие дипломатические деятели нашей страны имеют непосредственное отношение к литературе.

Удачного слова иногда бывает достаточно, чтобы остановить обратившихся в бегство солдат, превратить поражение в победу. Слово может быть и своего рода лекарством, облегчающим страдания человека, и ядом, который может убить его. Слово обладает большой повелевающей силой – так считали люди еще в древности. Тем более в дипломатической практике в нашем сегодняшнем беспокойном мире.

Литература

1. Дипломатический словарь. Т. 1–3. М., 1971.
2. Ковалев Ан. Азбука дипломатии. М., 1993.
3. Попов В.И. Современная дипломатия. М., 2004.
4. Мусса Фараг. Дипломатические службы арабских государств. М., 1962.

*Хартум,
Судан*

Язык Интернета

**О некоторых особенностях моблогов и блогов**

© И. Б. АЛЕКСАНДРОВА,
кандидат филологических наук

Современное медиаполе состоит не только из традиционных СМИ – радио, телевидения, газет, но и новых форм массовой коммуникации – *моблогов* (moblog, mobile phone log – дневник мобильного телефона) и *блогов* (производное от web log – дневник в Интернете). Каковы особенности информации, представленной в этих особых видах массовой коммуникации?

Как указано в Википедии – “свободной энциклопедии” Интернета, моблог “содержит контент, размещаемый в вебе с мобильных или портативных устройств, таких, как сотовые телефоны, PDA. Моблоги используют технологии, позволяющие публиковать контент напрямую с мобильных устройств, минуя настольный компьютер. Ранние разработки моблогов появились в Японии, первой стране, где камералоны (портативные телефоны со встроенными камерами) стали доступны широкой публике.

Первый пост, отправленный в Интернет с мобильного устройства, был сделан Томом Вильмером в Дании в мае 2000 года; *моблогинг* (moblogging) впервые был описан в 2002 году Адамом Гринфилдом. Он организовал Первую Международную Конференцию моблогинга в июле 2003 года в Токио [1].

Характерной чертой моблога является сочетание текста и фотографии, иллюстрирующей основную идею сообщения.

Записи в моблогах ориентированы на получателя информации. Это речевые акты, которые происходят в определенной ситуации, участники которой имеют общую речевую культуру и сходные представления о мире. При характеристике такого речевого акта нужно учитывать как особенности адресанта и адресата, так и конкретную ситуацию, место и время общения, канал связи. Место и время коммуникации не закреплено, спонтанно. Канал связи (мобильный телефон, персональная страница в Интернете, на сайте сообщества по интересам или на специальном сайте “Lifeblog”, где помещаются снимки, видеоролики, текстовые записи из мобильных телефонов подписчиков) не предполагает непосредственно-го контакта между коммуникантами.

Чаще всего используются такие типы речевых актов [2], как репрезентативы, директивы, экспрессивы; декларации и комиссивы встречаются редко в связи с личностным характером информации.

Моблоги не являются полноправным средством массовой информации – они стали лишь частью современной массовой коммуникации.

Каковы социальные причины появления моблогов? Их две – изменившееся отношение к человеку и научно-технический прогресс. Человек – это не только гражданин, но и личность, он интересен сам по себе, вне зависимости от его общественного статуса. Вот почему становятся “публичными” темы, появление которых прежде не было возможным.

В третьем тысячелетии появились и новые средства коммуникации, позволяющие рассказать о себе, поделиться своими мыслями, чувствами, представить себя в прямом смысле слова – посредством фотографий, видеороликов. Смартфоны упрощают коммуникацию и превращают адресанта в активного участника информационного процесса. Американский социолог Г. Рейнгольд [3] отмечает появление новой общности людей – “smart mobs” (“разумной толпы”, “разумной группы”), которые, используя новые технологии, создают свое медиаполе и таким образом определяют значимость той или иной информации для общества. Не случайно в 2006 году состоялся конгресс “Moscow Moblog 2006”, на котором было заявлено: “Для печатных изданий Моблог – это инструмент развития citizen journalism, то есть вовлечения читателя в создание контента газеты”.

“Народная журналистика” – важная часть современной массовой коммуникации. Не случайно многие традиционные издания размещают на своем сайте блоги и моблоги, которые ведут не только работники СМИ, но и люди других профессий. Сотрудничество с непрофессиональными журналистами позволяет более оперативно освещать новости дня. Сами авторы моблогов так определяют свое место в системе СМИ:

«Вторник, 01 Ноября 2005 г. 17:10

То, о чем у нас пока говорят только на конференциях... очень скоро станут реальным средством информации. Взрывы в лондонском метро и цунами в Индонезии показали, что мобильные сообщения по оператив-

ности выигрывают у всех видов СМИ. Однако говорить о полноценном информационном моблоге рановато. Пока что моблоги не выходят далеко за формат “блогов с фотографиями”...».

Интересным видом массовой коммуникации становится и блог (журнал в Сети). Жанровые признаки блога размыты, нечетки. С одной стороны, он наследует черты традиционного дневника – исповедального жанра, с другой – превращается в запись, рассчитанную на то, что ее прочтет достаточно большая аудитория. По мнению М.Ю. Сидоровой [4], это и определяет такие особенности сетевых дневников, как автобиографичность, «автокоммуникация и адресованность, “попытки литературности” и собственно дневниковый стиль повествования, импрессионистическое стремление автора к передаче сиюминутного, живого ощущения...».

Г. Гусейнов считает, что “за последние несколько лет веблоги (сетевые журналы) стали и новым медиумом, и новой литературой факта. Традиционные жанры малой прозы – схолия (комментарий), новелла, анекдот – интегрированы *постом (постингом)*, сопровождаемым отдельными *комментами (каментами)* или их гроздью – *тредом*” [5]. Запись в сетевом дневнике сочетает в себе черты разных функциональных стилей – публицистического, художественного, разговорного. Если она создается для того, чтобы сообщить новость и обсудить ее с читателями, то главными особенностями такого поста становятся информативность, публицистичность.

Зачастую авторы дневников пишут так, как слышат, или пользуются особым языком, характерным прежде всего для членов данного сообщества (таковы “преведский” язык, аргó “падонков”). Как пишет О.В. Дедова, «Интернет продуцирует новый, “виртуальный” тип общения, нивелирующий различия между межличностной и массовой коммуникацией» [6].

По структуре пост состоит из названия и ряда высказываний. Зачастую название у поста отсутствует, но тогда функцию “маркера”, указывающего на начало текста и отделяющего данную запись от других, выполняет дата написания. Запись в содержательном отношении может отличаться импрессионистичностью, фрагментарностью. Но она оформляется по правилам дневника и выделяется среди остальных записей блога.

В письменном тексте могут присутствовать невербальные компоненты коммуникации. Графическая сегментация текста, длина строк, пробелы, шрифт, подчеркивание, символы, цифры, необычная орфография и пунктуация и др. – все эти средства могут использоваться в текстах как осознанный стилистический прием, придающий единство тексту записи.

В повседневном общении людей каждому человеку постоянно приходится играть какую-то роль. “Социальная роль – это одобряемый обществом образец поведения, который соответствует конкретной ситуации

общения и социальной позиции (статусу) личности. Социальная позиция, или статус, – формально установленное или молчаливо признаваемое место индивида в иерархии социальной группы” [7]. Понятия статуса и роли взаимосвязаны. Статусно-ролевое общение строится на ожиданиях людей, что их собеседник будет соблюдать те нормы речевого поведения, которые свойственны его статусу и роли. Представления о типичном исполнении той или иной роли складываются в стереотипы речевого поведения, которые не всегда могут осознаваться носителями языка, тем не менее бессознательно будут узнаны.

В книге “Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы” Эрик Берн [8], американский психолог, пишет о транзакционном анализе: процесс речевого взаимодействия можно свести к обмену “посылами”, содержащими коммуникативный стимул и коммуникативную реакцию, то есть – к серии транзакций (минимальных единиц общения). Задача такого анализа – понять, какое Я-состояние отправило “стимул” и какое Я-состояние дало определенную коммуникативную реакцию. С точки зрения Берна, каждый человек может играть три роли – “Дитя”, “Родитель”, “Взрослый”. “Дитя” выражает собой эмоциональную сторону личности. Это состояние проявляется в соответствующих речеповеденческих реакциях: “Превосходно!”, “Ой, интересно!”, “Надоело!”, “Оставьте меня в покое!”, “Как я вас люблю!”, “Я вас ненавижу!” и пр. “Родитель” – авторитарное начало личности, которая стремится к неукоснительному, догматическому соблюдению норм социального этикета, основанного на иерархичности структуры общества. Оно проявляется в речи с помощью таких фраз: “Чтобы было сделано немедленно!”, “Сколько можно повторять!”, “Как вам не стыдно!”, “Что вы себе позволяете!”, “Нельзя!..”, “Ни в коем случае!” и др. “Взрослый” обеспечивает рациональный анализ информации, контролирует действия “Дитя” и “Родителя”, “примирия” их. Речевые формулы выражения позиции взрослого таковы: “Давайте разберемся по существу!”, “Проанализируем ситуацию”, “Посмотрим на это дело с разных точек зрения”, “Отбросим эмоции!”, “Возможно, Вы правы, но позвольте мне изложить свои соображения!” и др. Эти три состояния личности могут сменять друг друга на протяжении всего лишь одного речевого акта.

Существует “три уровня коммуникативной компетенции – конфликтный, центрированный и кооперативный” [7. С. 153]. Конфликтный тип предполагает стремление одного из участников диалога самоутвердиться за счет другого. Конфликтно-агрессивный и конфликтно-манипуляторский подтипы имеют одну общую черту – стремление личности к вербальному подавлению собеседника (к коммуникативной агрессии, а порой – и к “коммуникативному садизму”) [7. С. 152] .

Уровень коммуникативной компетенции предполагает и выбор той или иной речевой стратегии:

инвективная – в речевом отношении она проявляется в виде бранной, иногда обценной, лексики: “коммуникативные проявления здесь выступают отражением эмоционально-биологических реакций и выливаются в аффектированную разрядку в форме брани...” [7. С. 151];

куртуазная – предполагает использование этикетных формул (“Если тебе не трудно...”, “Будьте добры...”, “Если вас не затруднит...”, “Могу я попросить Вас...”, “Не будете ли Вы так добры...” и пр.) как необходимого компонента общения;

рационально-эвристическая – она заключается в разумном восприятии ситуации и зачастую воплощается в речи при помощи юмора, иронии.

Способность избегать конфликтов является показателем коммуникативной компетенции личности. Вот почему выбор кооперативного типа речевого поведения и таких стратегий, как куртуазная или эвристическая, свидетельствует о высоком уровне владения искусством диалога.

Блогеры используют разные речевые стратегии и различные типы языкового поведения. Главным образом, это кооперативный или центрированный тип, который реализуется с помощью рационально-эвристической или – реже – куртуазной стратегии. Но существуют и блоги, где дискурс носит конфликтный характер. Это, например, такой “феномен” контркультуры, как “креатифф” “падонкоф”, наиболее ярко демонстрируемый интернет-ресурсом “Udaff.com”.

В этой связи интересно проследить, какими “формулами” речевого этикета пользуются “падонки”. Представители этой контркультуры предлагают свою шкалу оценок, выражаемых при помощи фраз-аргоизмов: “*афтар вытей йаду!*”, “*афтар, убей сибя апстену*”, “*афтар пеши исчо*”, “*в Бобруйск, животное*”, “*в газенваген!*”, “*учи албанский*”. Они иллюстрируют собой побудительную интенцию, обладают негативной окраской, – их используют, чтобы унижить собеседника. Кроме того, надо отметить, что распространенные выражения типа “убей сибя”, “*вытей йаду*”, “*в газенваген*”, “*фтопку*” несут в себе разрушительное, деструктивное значение.

“Падонки”, использующие куртуазную стратегию, обращаются к таким “формулам”, как “*кисо ты с какова горада?*” или “*кисо ты што абиделась?*”. При помощи слова “*кис*” (видоизмененное “киса”) “аффар” указывает на ущербность его собеседника, но делает это, не применяя грубой лексики.

Конфликтно-агрессивный тип поведения выражается в таких распространенных инвективных формулах, как “*ахтунг!*”, “*ацтой!*”, “*ужос*”, “*ужоснах*” и др. Это словесное выражение агрессии по отношению к собеседнику.

Таким образом, моблог и блог – это интернет-жанры, которые совмещают в себе черты разных стилей – публицистического, разговорного, художественного. Не являясь самостоятельным СМИ, моблог и блог по-

могут создать новое явление нашей жизни – mediated communication, когда каждая личность получает возможность участвовать в освещении бытия нашего поколения.

Литература

1. <http://ru.wikipedia.org>
2. Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986.
3. Rheingold H. Smart Mobs. The Next Social Revolution // http://www.smmartmobs.com/book/book_toc.html
4. Сидорова М.Ю. Субъектная перспектива текста в открытом интернет-дневнике // Русский язык: исторические судьбы и современность. М., 2004. С. 413.
5. Гусейнов Г. Берлога веблога. Введение в эрратическую семантику. – http://www.speakrus.ru/gg/microprosa_erratica-1.htm
6. Дедова О.В. О специфике компьютерного дискурса // Русский язык: исторические судьбы и современность. М., 2004. С. 388.
7. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М., 2001. С. 147.
8. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. СПб, 1992.

*Язык рекламы***“Творение” новых слов
в рекламных текстах**

© Н. В. ИСАЕВА

Реклама прочно вошла в нашу повседневность, заполонив радио- и телеэфир, газетные и журнальные полосы, стала привычным “украшением” городских улиц и площадей. К рекламным объявлениям сегодня предъявляются повышенные требования: они должны быть не только зрелищны, информативны, но и обладать какой-то особой “зацепкой”, способной задержаться в памяти потенциальных потребителей.

Исследования печатных рекламных объявлений последних лет убеждают в том, что не последнее место в этом занимает использование новых слов, привлекательно звучащих, несущих элемент “свежести”, необычных в графическом оформлении. В рекламные тексты включаются не только неологизмы, широко применяемые и в других областях современной общественной, научной, культурной жизни страны, но и новообразования, созданные для рекламы конкретной продукции. Таким образом, продвигая на покупательский рынок новые товары и услуги, реклама активно внедряет в нашу речь и разнообразные новые слова.

Самую большую группу неологизмов (это понятие рассматриваем широко), используемых в рекламных текстах, составляют внешние заимствования из других языков, в основном, английского. Это отражение тех процессов, что происходят в мире, а также в жизни страны в целом: глобализация экономики, интеграционные процессы, массовая компьютеризация, использование Интернета, развитие рыночной экономики, расширение культурных и научных связей и т.д. Это слова, связанные с названиями новейших технологий, новых видов деятельности, предметов быта, спортивных развлечений, досуга (*клиринг, консалтинг, лизинг, маркетинг, роуминг, тьюториал, картридж, плоттер, принтер, сайдинг, слайдер, тонер, факс* и т.п.): “Международный чемпионат брейк-данса, диджиинга, граффити. Битва лучших граффитчиков! Начало в 13” (SMS-life. 2005. Апрель); “Новый красочный широкоформатный пьезоструйный плоттер для высококачественной цифровой печати фотографического качества” (Фото и видео. 2005. Ноябрь).

Часто новые слова даже не обозначаются буквами русского языка, сохраняя свой первозданный облик, это так называемые иноязычные вкрапления: *e-mail, Internet, on line, show* и т.п. Освоенные носителями языка, многие заимствованные слова образуют свои словообразователь-

ные гнезда, устанавливают собственную сочетаемость с другими словами, т.е. активно адаптируются в языке: *имидж – имиджевый, граффити – граффитчик* и т.п..

Среди заимствований особо выделяются новообразования, называющие лиц по профессии, специальности, роду занятий. Открыв любое рекламное издание, предлагающее работу населению, увидим в перечне наиболее востребованных специалистов-менеджеров всевозможных направлений (менеджер по продажам, закупкам, персоналу, логистике, рекламе и т.п.), а также *рекрутеров, промоутеров, риелторов (и риэлтеров!), мерчендайзеров, супервайзеров, хостесов* и пр. Использование иноязычных слов в названиях профессий объясняется рядом причин как лингвистического, так и социо-психологического свойства. Многие названия лиц по профессии носят интернациональный характер и широко используются в других языках (*брокер, дилер, менеджер*), не имеют эквивалентной лексической замены в русском языке, и, наконец, считаются более престижными у представителей молодого поколения сегодня, создавая некий ореол избранности, особенности: «Институт репутационных технологий “Арт-имидж” готовит специалистов нового профиля: PR-менеджер – специалист, управляющий имиджем и репутацией компании; брэнд-менеджер – специалист, отвечающий за конструирование бренда и реализацию продукции под определенной торговой маркой» (Столичное образование. 2004. Декабрь).

Новых слов, созданных на основе словообразовательных элементов, в рекламных объявлениях меньше, чем слов-вхождений из иностранных языков. Рассмотрим некоторые из них. Широко используются словообразовательные возможности аффиксов. Наиболее продуктивны суффиксы в категории существительных и прилагательных *-ист-, -щик-(-щица), -ант-, -ец-, -ор-, -ов-* и др.: *багажист, застройщик, клининговый, маркетинговый, закольщик* и т.д.: “СВХ требуется декларант с опытом работы, зарплата по результатам собеседования” (Работа. Учеба. Сервис. 2004. Февраль).

Часто употребляются суффиксы, придающие словам оттенок разговорности, просторечности, что соответствует стремлению к общепонятности, доступности рекламных текстов для всех социальных и возрастных слоев населения: *анимашка, тиска* и пр.: “Загрузи анимашку! Чтобы получить анимированную картинку, отправь SMS с кодом на номер 5999” (Взрослые игрушки. 2005. Декабрь).

Среди префиксов по частоте употребления особо выделяются *де-, сверх-, супер-*, причем с использованием последнего в рекламных текстах явный перебор: *супершоу, супервыигрыш, суперпрезентация, суперприбыль, суперакция, суперокна* и т.п.: “Суперскидки к празднику для милых дам!” (Арбат Престиж Телегид. 2005. Февраль).

Часто создатели рекламных печатных текстов конструируют новые слова по аналогии с имеющимися в языке словами с использованием уко-

ренившихся в русском языке иноязычных словообразовательных элементов. Например: *окнариум* (*террариум*, *океанариум*); *продуктория* (*территория*, *обсерватория*); *билетерия* (*феерия*) и т.п. Не всегда эти новообразования удачны, особенно, когда налицо явное несоответствие претенциозного названия и сущности явления, предмета. Например, вчерашний обычный продуктовый магазинчик, расположенный в подвальном помещении, теперь гордо именуется “Продуктория”.

Представлены в рекламных текстах и неологизмы, созданные с помощью различных способов сложения. Например, сложение части слова и целого слова: *автомир*, *автоломбард*, *радиоопрос*, *инфографика*, *агро-маркетинговый*, *танцпол* и др. Причем чаще всего встречаются слова с одной или всеми заимствованными частями. Например, *промоупаковка* – это вовсе не *промышленная упаковка*: первая часть слова образована от английского *promotion* – содействие распространению, продвижению товара на рынке, сбыту товара потребителю. Следовательно, *промоупаковка* – рекламная комплектация товара с каким-либо подарком покупателю: “Промоупаковка! Кофе JAKOBS MONARCH молотый, 250 гр. + чашка с блюдцем” (Дикси. 2006. Апрель). Или: “Современные экофлэты в Крылатском” (рекламная листовка в метро) – от английского *flat* – квартира.

Нередко сложение целых слов, в том числе с использованием иноязычных вкраплений, когда наряду со словами, написанными буквами русского алфавита используются английские слова *web-дизайн*, *call-центр*, *chill-out* (и *чилл-аут*), *PR-менеджер*. “Профессиональный *web-дизайн*, представительство, интернет-магазины, порталы” (Сделка. 2005. Март). Это свидетельствует об ориентированности рекламных текстов в первую очередь на молодежь, обладающую знанием английского языка, готовую стать реальным потребителем и производителем рекламной продукции.

В кратком рекламном объявлении сложные и сложносоставные слова стали настоящей находкой, так как отвечают основным рекламным требованиям – лаконичности и информативности. Еще в большей степени с этой задачей справляются сложносокращенные слова – аббревиатуры. Чаще всего они встречаются в названиях предприятий, компаний, фирм и т.п.: ТЦ (Торговый центр), ХЦ (Холдинг центр), СП (совместное предприятие), ЧОП (частное охранное предприятие) и т.п. Нарастает тенденция в образовании аббревиатур, созвучных, омонимичных уже имеющимся в языке словам, что способствует более легкому запоминанию рекламной информации: МИФ – Московский инвестиционный фонд, ПИК – Первая ипотечная компания, СОМ – строительные и отделочные материалы и т.п.: “СОМ поможет осуществить все планы в строительстве” (Обустройство и ремонт. 2004. Март).

В рекламных объявлениях встречаются слова, получившие в настоящее время новый лексический смысл за счет переосмысления уже имею-

щихся значений, их расширения или сужения, метафоризации: «Аппараты W21S и W22SA выполнены в форм-факторе “раскладушка” с 2-дюймовым дисплеем» (SMS-Life. 2005. Апрель). Движущим фактором в этом процессе является стремление к яркости, выразительности, образности рекламных текстов.

Печатная реклама берет на вооружение разнообразные графические возможности письменной речи, создавая новообразования с помощью графических приемов. Например, выделение главного слова внутри другого большими буквами, так называемая гибридизация (тмезис): “ОПТимальное решение для оптовиков!” (Реклама торгового центра “Москва”, баннер на дороге); “ОтСМСь себе СТРИМ!” (реклама тарифа МТС в метро); “Золотое разБАЗАРивание!” (рекламная листовка ювелирного магазина). Использование для образования новых слов английских букв, идеограмм (условных графических знаков): “Грузовозoff. Российская транспортно-экспедиционная компания на конкурсной основе приглашает на вакансии” (Работа для вас. 2006. Май); “New! В номинации скандальный роман – Александр Еснецкий “Мя\$о”. Такого вы еще не читали!” (реклама в вагоне пригородной электрички). Безусловно, здесь мы имеем дело с установкой на языковую игру, эмоциональное восприятие информации. Но именно в рекламе очень часты случаи нарушения правил языковой игры, когда создатели рекламных текстов, с увлечением “творя” новые слова, сознательно допускают ошибки в написании известных слов, апеллируют к негативным словесным аналогиям и параллелям, находящимся за пределами нормированного литературного языка.

Рекламное словотворчество заставляет задуматься об экологической сохранности языка в рекламных текстах, об ответственности создателей рекламы и их заказчиков перед обществом.

**Алексей
Иванович
Соболевский**

Выдающийся русский ученый-славист Алексей Иванович Соболевский был знатоком словесной культуры в самом широком смысле этого слова, он оставил яркий след в истории русского и славянских языков, диалектологии, истории и этнографии, палеографии, народного творчества. А.И. Соболевский сделал немало открытий на ниве изучения памятников церковнославянской и древнерусской письменности. Он был четким фактографом языковых явлений и всегда опирался на свои, добытые годами кропотливой работы данные.

А.И. Соболевский родился 26 декабря (по старому стилю) 1856 г. в Москве в семье чиновника. В 1874 году окончил 1-ю Московскую гимназию, поступил на историко-филологический факультет столичного университета, где учился у таких корифеев отечественной науки, как Ф.И. Буслаев, Ф.Е. Корш, А.Л. Дювернуа, Ф.Ф. Фортунатов, В.Ф. Миллер и др. По завершении университетского курса А.И. Соболевский работал над диссертацией по русской грамматике, которую защитил в 1882 году.

Дальнейшая деятельность ученого была связана с Киевским и Харьковским университетами. В первом из них он получил должность доцента по кафедре русской литературы, а уже после защиты в 1884 году в Харькове докторской диссертации "Очерки по истории русского языка" он стал ординарным профессором.

С 1888 по 1908 год А.И. Соболевский заведовал кафедрой русского языка и словесности С.-Петербургского университета, где читал лекции по старославянскому языку, истории русского языка и диалектологии, палеографии. По свидетельству Д.К. Зеленина, в 1906–1907 годах А.И. Соболевский приготовил специальный курс "русской этнографии", который "читался тогда впервые за всю столетнюю историю здешнего... университета" [1. С. 54]. Кроме того, он преподавал и в Археологическом институте.

В 1893 году А.И. Соболевского избирают членом-корреспондентом Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности, а в 1900 году – действительным членом Академии наук.

В 1908 году ученый вышел в отставку и вскоре переехал в Москву, где продолжал свою педагогическую и научную работу. "По свидетельству П.К. Симони, – пишет М.Г. Булахов, – С<оболевский> в 1918 году читал

лекции по исторической этнографии Руси в Московском университете, по истории русской культуры в Московском археологическом институте, по палеографии и актовому языку на Архивных курсах, открытых Московским областным управлением архивного дела" [2. С. 200].

А.И. Соболевский был избран членом-корреспондентом Белградской и Софийской Академий наук и состоял во многих столичных и провинциальных исторических, археологических и филологических обществах и комиссиях. Так, он принимал участие в работе 9–11 археологических съездов (Вильно–Рига–Москва), в славяно-русской палеографической выставке (1899 г.), предварительном съезде русских филологов (СПб., 1903 г.), некоторое время находился в составе Орфографической комиссии АН. По данным его фонда в РГАЛИ, ученый занимался и благотворительной деятельностью.

В 1888 году А.И. Соболевский выпускает первый опыт систематического изложения истории звуков и форм русского языка под заголовком "Лекции по истории русского языка", которые переиздавались при его жизни три раза. По словам А.А. Шахматова, "выход Лекций является едва ли не самым видным моментом в истории нашей науки после появления Исторической грамматики Буслаева" [3. С. 836].

Особое место в славистических работах А.И. Соболевского занимают исследования морфологии, которые начались со времени защиты и опубликования им диссертации в 1884 году и продолжались на протяжении почти тридцати лет. Часто он помещал рецензии с анализом работ славистов Ф. Миклошича, А. Будиловича, В. Ягича, М. Фасмера и др.

Соболевский-славист был страстным исследователем и публицистом. В одной из работ он предлагал прогрессивную, но так и неосуществленную реформу славяно-русского образования в университетах России. Ученый с болью воспринимал происходящее и сочувственно писал: «Общее состояние нашей высшей школы, как бы она ни называлась (университет, духовная академия, женские курсы), давно уже печально. Лекционная система, за которую упорно держатся преподаватели в этой школе, устаревшая и в Западной Европе, но там понемногу реформируемая, — ведет русскую высшую школу к *полному разложению* (курсив наш. — О.Н.). Отсутствие обязательности занятий в одних случаях, всякие послабления и снисхождения в других приучили русскую учащуюся молодежь пренебрегать самым посещением высшей школы и переносить всю работу по усвоению элементов науки на короткий экзаменационный период.

<...> Наше Славянское общество уже имеет поручение "ходатайствовать, чтобы в военной академии Генерального Штаба была учреждена кафедра по этнографии и истории славянских народов, для чтения хотя бы необязательных лекций по этим предметам"» [4. С. 3, 7].

А.И. Соболевский был знатоком старославянских и древнерусских памятников. Его исследования носили не только лингвистический харак-

тер, он изучал *текст* во всей совокупности его граней: и как факт языка, и как историческое событие, и как культурный феномен. В этом смысле показательны работы ученого по палеографии – науке, занимающейся “древлеписанием”. Его перу принадлежит самый фундаментальный из имевшихся на то время трудов в этой области – курс “Славяно-русской палеографии” (СПб., 1901) с широким привлечением памятников разных жанров и эпох, с богатыми иллюстрациями и – главное – со своей концепцией. А.И. Соболевский профессионально интересовался также древнерусским искусством, славянскими божествами, старинной поэзией, историей просвещения на Руси, древней и новой литературой, фольклором. Ему принадлежит фундаментальное издание “Великорусских народных песен” (Т. 1–7. СПб., 1895–1902). Во всех областях его исследовательский талант выразился ярко и неподражаемо.

Так, ученый рассматривает Гоголя в связи с историей русской этнографии и касается тем самым очень непростого вопроса о западном влиянии в Малороссии. А.И. Соболевский и здесь остается верным традициям и историческим корням, некогда объединявшим народы: «Василий Гоголь пользовался дома великорусским языком. На нем вели переписку он и жена с детьми, роднею, знакомыми. Великий Гоголь вырос на этом языке: великорусский язык, как теперь принято выражаться, был его “материнским” языком. Если мы пожелаем дать нашему Гоголю этнографическое определение, мы должны будем назвать его просто русским, сыном единой пространной России, без разделения на местные разновидности...» [5. С. 3].

А.И. Соболевский первым высказал обоснованное мнение по поводу сношений русских с иностранцами, которое шло вразрез с официальной трактовкой этого щекотливого вопроса. «У нас господствует убеждение, – писал он в главе “Западное влияние на литературу Московской Руси XV–XVII веков”, – что Московское государство XV–XVII веков боялось иноземцев и было как бы отгорожено от западной Европы стеною до тех пор, пока Петр Великий не прорубил в Европу окна» [6. С. 38]. Данной проблеме посвящен объемный труд ученого, где собраны и прокомментированы выписки из литературных памятников XIV–XVII вв., показывающих, что переводной характер многих письменных источников свидетельствует об активных и непосредственных контактах русских с иностранцами в области культурного строительства государства.

В непростые для ученого 1920-е годы он не прекращал письменного общения с коллегами и учениками, которые нередко просили о помощи, рассказывали о своих судьбах, искали научного покровительства. Среди тех, с кем А.И. Соболевский вел переписку, были многие известные ученые: В.А. Богородицкий, Е.Ф. Будде, В.Н. Перетц, М.Н. Сперанский, Н.М. Каринский, М. Фасмер, С.П. Обнорский, А.М. Селищев, Б.М. Ляпунов, Д.К. Зеленин, И.Г. Голанов и др. Так, давний знакомый ученого

профессор Казанского университета В.А. Богородицкий писал в 1925 году:

“Глубокоуважаемый Алексей Иванович!

Очень был рад получить от Вас весточку о Вашем житье. Да, мы похоронили почти всех стариков-учителей, а теперь сами стали стариками, а я сверх того и многомогущим. Очень благодарю Вас за присылку Ваших воспоминаний о Ваших стариках. Моя научная работа, поскольку позволяет старость, направлена пока главным образом в сторону экспериментальной фонетики и отчасти тюркского языкознания. Имею два часа лекций по экспериментальной фонетике и заведу Кабинетом; это несколько восполняет мой бюджет. <...> Мой коллега Е.Ф. Будде жалуется на ноги, плохо ходит и лекции читает на дому. <...>” [7].

В 1926–1929 годах А.И. Соболевский предпринимал попытки сбора материалов для лексикографических начинаний, которые, к сожалению, остались незавершенными: так, он был инициатором работы над словарем древнего церковнославянского языка, дополнившим бы знаменитые “Материалы” И.И. Срезневского; готовил материалы для словаря старославянского языка Московской Руси XI–XVII столетий и словаря Польско-Литовской Руси XIV–XVII веков. Всего же за пятидесятилетнюю деятельность на ниве историко-лингвистической науки он опубликовал более 450 работ. Многие из них стали доступны широкому читателю только сейчас [8].

В 1927 году научная общественность отметила 70-летие А.И. Соболевского, а Академия наук “по почину его учеников” под редакцией академика В.Н. Перетца издала “Сборник статей” в честь знаменитого слависта, где, в частности, говорилось:

“Глубокоуважаемый Алексей Иванович!

Ваша полувековая научная работа на поприще славянской вообще и, в частности, русской филологии обогатила науку во всех ее отраслях, куда заглядывал Ваш пытливый взор.

До Вас были попытки охарактеризовать особенности древнерусского языка, но Вам принадлежит бесспорно честь быть первым историком его. Вами создана русская палеография как система знаний. Вы объединили материал и построили схему русской диалектологии как древнего времени, так и нового, положив твердую базу для дальнейших изучений. В области славянской филологии Вы значительно углубили сделанное Вашими предшественниками и подарили науке ряд ценных наблюдений, гипотез и выводов. Русская этнография обязана Вам, кроме единственного в своем роде свода великорусских песен, – рядом остроумных и значительных, несмотря на краткость, исследований и статей. История русской литературы, как древней, так и новой, – всегда занимала Вас; но в особенности важны Ваши работы для освещения переводной литературы домонгольского и московского периода. Немало времени и сил отда-

ли Вы изучению проблемы славянской и русской археологии, в частности же – древнерусскому искусству” [9. С. I].

Таким образом, А.И. Соболевский получил заслуженное признание почитателей и учеников, которые “вместо шумных юбилейных овадий” преподнесли ему скромный дар – книгу.

О сокровенных симпатиях ученого, его терзаниях и сомнениях, душевных переживаниях он мог поделиться только с самыми близкими людьми и прежде всего – с матерью. С ней на протяжении нескольких десятилетий он переписывался вплоть до трагических событий 1917 года, когда ее не стало. А.И. Соболевский трепетно относился к изучению истории своего рода: хранил письма деда и документы еще более древних времен, имевших отношение к генеалогии собственной фамилии. Много нераскрытого таят в себе эти и другие материалы, находящиеся в фондах личного архива ученого (ф. 449) в РГАЛИ и других, пока еще неисследованных собраниях.

Символично, что Алексей Иванович Соболевский скончался в день прославления равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, просветителей славянства, 25 мая 1929 г.

К счастью, он избежал участи многих своих коллег, вынужденных покинуть Родину или погибать в ссылках и лагерях. Сохранились, по большей части, его семейный архив, переписка, но богатая книжная коллекция ученого и многие рукописи были утрачены в годы революционного лихолетья [10].

Публикуемая далее статья академика А.И. Соболевского “О стиле” [11] представляет ученого с иной стороны: как тонкого исследователя живых традиций русской речи, одного из первых социалингвистов, который обратил внимание на внешнюю сторону языка. Но и здесь видны исторические корни Соболевского-ученого, предпославшего очерку современной языковой стилистики ретроспективное изложение *традиций* отечественной науки в этой области, начиная с учения о “трех штилях” Ломоносова. И такой, казалось бы, обычный вопрос он подает с новой точки зрения, приводит яркие примеры и доказательства.

Очерк А.И. Соболевского “О стиле” – это не сугубо научный труд. Он был предназначен для аудитории слушателей. Поэтому ощутима ораторская манера автора, излагавшего свои мысли непосредственно живым людям. Отсюда известная полемичность, отрывистость записей, сделанных, очевидно, вскоре после лекции А.И. Соболевского. Но именно этим и интересна уже сама интонация ученого – “Нестора славянских филологов”, как заслуженно называли его ученики, и большого мастера риторических фигур.

А.И. Соболевский

О стиле

Я – историк и потому начну свою беседу с краткого исторического очерка.

Древние римские писатели Квинтилиан и Авл Геллий, повторяя современных им греческих писателей (до нас не дошедших), говорят о трех главных видах речи; причем Квинтилиан имеет в виду произведения ораторского искусства, а Геллий – вообще произведения в стихах и прозе.

В век гуманизма учение о трех видах речи вошло в западноевропейские школьные руководства, а в XVII в. достигло и до России. Ломоносов мог с ним познакомиться в годы учения своего в Московской академии.

В половине XVIII века Ломоносов издал рассуждение “О пользе книг церковных в российском языке” [12], где учение о трех видах речи получило новые основания и удачное применение к словарному запасу русского литературного языка того времени.

Надо иметь в виду, что в течение ряда веков существования русской литературы, вплоть до эпохи самого Ломоносова, – языком этой литературы был более или менее обрусевший церковнославянский, или славянский язык Священного Писания и церковных книг, и что на этом языке обращались среди русских читателей жития святых, поучения, летописи, исторические повести, оригинальные и переводные, духовные и светские, между тем как живой русский язык был лишь деловым языком, языком документов разного рода.

Только при жизни Ломоносова начал делать свои первые шаги, в сочинениях и переводах кн. Кантемира и Тредьяковского, новый литературный язык России – русский. Но привычка к старому, славянскому языку сохранялась в массе читателей. Множество славянских слов и оборотов находилось в живой русской речи. И с этим славянским элементом надо было считаться. Ломоносов искусно разобрался в том словарном запасе, который обращался в книжной и устной речи образованного русского общества его времени, и разделил его данные на три группы, или “рода”.

К первой группе он отнес слова употребительные и в языке славянских книг, и в живой русской речи, вроде *Бог, слава, рука, почитаю*. Во вторую он поместил те слова, которые в живой речи употребляются мало, но всем грамотным людям понятны, вроде *отверзаю, Господень, насажденный, взываю*. А к третьей группе Ломоносов отнес те русские слова, которых нет в языке славянских книг, как *говорю, ручей, который, лишь*. Кроме слов этих трех групп, Ломоносов нашел в русском языке своего времени еще “презренные слова”, которые, по его мнению, годны только для “подлых комедий”.

От рассудительного употребления и разбору сих речений, говорит Ломоносов, рождаются три штиля (=стиля): *высокий, посредственный и низкий*.

Далее он поясняет: *высокий* стиль составляется из слов употребительных в языке церковных книг и каждому русскому понятных; *средний* – из слов “больше” в русском языке употребительных, с прибавлением некоторого числа слов высокого стиля; и *низкий* – из слов, неизвестных языку славянских книг, но обычных в живой русской речи, – с прибавлением слов среднего стиля.

Предостережения против неосторожного пользования высокими словами с одной стороны и низкими с другой, высказанные Ломоносовым с большой настойчивостью, – показывают, что он опасался злоупотреблений крайними элементами книжной и живой русской речи своего времени и заботился об их гармоническом распределении.

Изыскный вкус помог Ломоносову в его практике, и сочинения Ломоносова долгое время считались образцовыми по стилю. Ближайшее поколение, в лице ученика его проф. Поповского, объявило, что Ломоносов “чистый слог стихов и прозы внес в Россию”. Дальнейшее, в лице другого профессора, Каченовского, – признало, что “Ломоносов первый постиг и открыл для нас тайну выбора слов и приличного сочетания книжного языка с общенародным” [13].

Но людей с изыскным вкусом немного. Самые искренние почитатели Ломоносова, как Державин, к тому же обладавшие сильным поэтическим дарованием, – оказались не в силах пользоваться словарным материалом русской речи так искусно, как пользовался Ломоносов. Началось злоупотребление высокими славянскими словами, т.е. внесение их в такую речь, где не было в них нужды, где содержание, имевшее своим предметом “обыкновенные дела”, – требовало обыкновенного словарного материала. Средний стиль Ломоносова как бы исчез; его место занял и в прозе, и особенно в стихах, высокий стиль, не выдержанный и потому далекий от изящества.

Так было почти всю вторую половину XVIII столетия, до появления Карамзина. Карамзину приписывается “реформа” русского литературного языка; его считают отцом “нового слога”; но в действительности Карамзин только вернулся к Ломоносову. Он возвратил высокий стиль на подобающее ему место и стал широко пользоваться средним стилем, давая в нем место, то больше, то меньше, высоким славянским словам. Природный вкус Карамзина сообщил его речи изящество, и оно было замечено, приветствовано и по заслугам оценено современниками. Впрочем, не всеми.

Пушкин продолжал дело Карамзина. Он вовсе отказался от высокого стиля и ограничился стилем средним. Возьмите любую из поэм Пушкина, и вы найдете в ней как обычное явление ту примесь высоких слов, которая допускалась в этот стиль Ломоносовым [14]. Но тот же Пушкин в

повестях и вообще в прозе, дал широкое употребление низкому стилю Ломоносова, т.е. живой русской речи, свободной от “презренных слов”, от вульгаризмов. Но он не избегал и этих последних. Их мы видим у него и в стихотворениях [15], и в повестях, когда приводится подлинный разговор действующих лиц, и в живых сценах “Бориса Годунова”, “Русалки” и вообще драматических произведений. Но “презренных слов” и оборотов у Пушкина мало и они не особенно ярки.

У Гоголя нет не только высокого стиля Ломоносова, но и его среднего стиля. Он пишет только низким стилем Ломоносова, совершенно без славянских слов, а также и без вульгаризмов. Но вульгаризмы имеют у него свое место, когда из под его пера выливается живая речь без всякой отделки, в том виде, как она слышится в практике повседневной нашей жизни.

Теперь посмотрим, чем пользуемся мы теперь, как мы относимся к стилю.

Перебирая в памяти нашу ученую и учебную литературу, наши словари и грамматики, наши школьные руководства разных наименований и назначений, мы легко можем удостовериться, что в области стиля у нас нет ничего. Ни в одном нашем словаре, кончая новым академическим, мы не находим при словах никаких отметок об их стилистическом достоинстве. Точно так же в грамматиках и разных учебниках мы напрасно стали бы искать указаний на принадлежность того или другого слова, той или другой формы, того или другого оборота какому-либо стилю. Казалось бы, мы должны бы были найти кое-какие интересные для нас сведения в наставлениях ученикам средней школы, как писать письменные упражнения, так называемые сочинения. Но, сколько я знаю, и здесь нет ничего. Получается впечатление, что мы стилем не интересуемся и что мы можем говорить и писать везде и всегда, как хотим, не подчиняясь никаким требованиям обстоятельств, времени и места.

Но в действительности дело обстоит далеко не так печально.

Попробуем перебрать в памяти несколько рядов слов с одним значением, синонимов, и мы сейчас увидим разницу между ними.

Возьмем для примера *церей*, *священник* и *поп*; *воин* и *солдат*; *дар*, *подарок* и *презент*; *нагой* и *голый*; *супруга*, *жена* и *супружница*; *дерзновение* и *смелость*; *высечь* и *выдрать*; *уста* и *губы*, *рот*; *лгать* и *врать*; *насытиться*, *наестся* и *нажраться*; *обмануть* и *надуть*; *повергнуть*, *бросить* и *швырнуть*; *простереть руки* и *протянуть*; *рождать* и *рожать*; *страшиться* и *бояться*; *устрашиться* и *испугаться*; *скончаться*, *умереть* и *помереть*; *шествовать*, *идти* и *лезть*; *ныне* и *теперь*. Здесь мы ясно почувствуем оттенки не в значении, а в употреблении этих слов. Одни из них мы признаем приличными для всех своих слушателей или читателей; другие, как *уста*, *дерзать*, *страшиться*, мы пустим в оборот лишь перед избранными; третьи, как *выдрать*, *нажраться*, *рожать*, мы, наоборот, не решимся произнести перед избранными. Мы не

сомневаемся, что реальное значение *нагой* и *голый*, *лгать* и *врать*, *скончаться* и *умереть* – одно и то же. Различие между этими словами ограничивается их употреблением. Одни находятся в нашей обычной речи, другие – напротив – ей несвойственны; третьи употребляются только в речи повседневной, домашней.

Итак, деление слов по степени их “высоты” и теперь имеется в русской речи и приблизительно то самое, какое было отмечено Ломоносовым. В то время, как одни слова, вроде *супруга*, *дерзаю*, *страшусь*, *шествую*, главным образом, из словарного запаса славянских книг, – вполне заслуживают названия “высоких”, – слова, как *жена*, *подарок*, *смелость*, *боязнь*, *умереть*, *идти*, имеющие самое широкое употребление, играют у нас роль ломоносовских “средних”. Что же до слов, как *выдрать*, *нажраться*, *швырнуть*, – то эти, прежде, при Ломоносове, “презренные” слова, годные только для “подлых” комедий, теперь могут быть признаны соответствующими “низким” словам Ломоносова. Само собою разумеется, мы имеем также и свои “презренные” слова, но это – слова не нашей речи, не речи образованного общества; это – слова простонародные, слова нашей прислуги, рабочих и вообще плебса (так у автора. – О.Н.). Таковы: *сумление* при нашем *сомнение*; *ноне* при нашем *нынче*; *теперича* при нашем *теперь*; *пужать* при нашем *пугать*; *пуцуй* при нашем *пускай*.

Припомним те речи и рефераты, которые нам приходилось слышать, и те статьи, исследования, повести, драмы современных писателей, которые мы недавно читали. Вглядимся в них со стороны стиля, и мы без труда увидим те разновидности стиля, которые отметил Ломоносов.

Возьмем всеподданнейший адрес, приветственную речь при встрече важного гостя, вообще по поводу какого-либо важного события, кантату, торжественное стихотворение на случай, вроде старой оды, здесь мы найдем *высокий* стиль нашего времени, соответствующий среднему стилю Ломоносова. Его словарный материал состоит из средних слов Ломоносова, с примесью слов высоких. Здесь мы употребляем такие слова, как *дерзновение*, *повергаю*, *устрашаюсь*. Удачное пользование подобными словами придает произведениям этого стиля величественный характер, и они производят – особенно при умелом чтении вслух – очень приятное впечатление.

Перейдем к обыкновенной передовой статье в газете, к роману, к ученому исследованию, к реферату в литературном обществе, к лирическому стихотворению большого журнала. Если перед нами будет нечто обыкновенное по своему языку, мы найдем здесь *средний* стиль нашего времени, соответствующий низкому стилю Ломоносова. Ломоносов допускает в этот стиль “простонародные” слова “по рассмотрению”. Точно так же и наши писатели и ораторы допускают в свою речь в известных случаях слова из домашнего обихода вроде *пон*, *нажраться*, *надуть*, и они, при уместном употреблении, сообщают речи особую окраску, более

или менее приятную. Высокие слова в нашем среднем стиле находят себе употребление или в отдельных высоких периодах (в “патетических местах”), или при желании придать речи шутливый оттенок (“дал ему некую мзду”, “надел свои *ризы*” – мундир, “верный *страж*” и т.п.).

Средний стиль, как наиболее употребительный, господствующий, естественно, имеет свои подразделения. Пока достаточно отметить одно: употребление новых слов, как русских вновь образованных, вроде *закономерный*, *целокупный*, *правосознание*, *самоопределение*, так и недавно заимствованных иностранных вроде *постулат*, *атрофия*, *контаминация*, *провиденциальный*, *эвентуальный*, *базировать*, *конструировать*, конечно, умелое и умеренное, – придает речи характер деловитости и щеголеватости, для многих приятный.

О *низком* стиле не приходится распространяться. Он является там, где писатель говорит не от себя, где он передает речь действующих лиц его рассказа или драмы, так сказать, с фотографическою точностью. Этот стиль необходим для передачи сцен из повседневной жизни в романе, повести и особенно в драме.

Близко к этому же стилю, но особняком от него, стоят те произведения, в которых целиком воспроизводятся бытовые сцены, с народною речью деревни, с жаргонами еврейско-русским, татарско-русским и т.д. Из их числа стоит отметить часть “Горькой судьбины” Писемского, где сочинитель воспроизвел речь костромских крестьян, и всю “Власть тьмы” гр. Л.Н. Толстого, где он дает речь своих тульских соседей.

Как я уже упомянул, Ломоносов допускал примесь слов одной группы к словам другой, но рекомендовал делать это с осторожностью. Он заботился о гармоническом сочетании элементов. И теперь такая примесь постоянно производится нами, одними искуснее, другими неискусно. В последнем случае получается неприятное впечатление – неуместные слова (особенно низкие) нам “режут ухо”.

В обществе, когда говорят о нашей устной и книжной речи, вы не услышите тех названий речи, которые употреблял Ломоносов: высокая, средняя, низкая. Мы говорим всего чаще о речи *лаконической*, *сухой*, *водянистой*, *цветистой*, *образной*, *периодической*, *связной*, *стройной*, *отрывистой*; мы упоминаем о “перлах красноречия”, о “лаконизме”. Здесь характеристика речи дается по другим ее признакам, о которых я распространяться не буду: они ясны из самых названий.

Но я скажу несколько слов о том, что находится в значительной связи с особенностями речи и о чем не упомянул Ломоносов. Он говорил и писал для небольшого кружка образованных придворных и для ученых воспитанников тогдашних академий, по преимуществу духовных особ. Ему не приходилось заботиться о *приспособлении*. Он рекомендовал избегать редких и не для всех понятных славянских слов. И только.

Теперь, чрез полтора века, мы имеем публику совсем другую. Нам приходится читать для рабочих, делать доклады в собраниях и “сливок общества”, и смешанной публики, “толпы”, говорить речи перед присяжными заседателями не только в столицах и губернских городах, но и в уездных городах, где присяжные заседатели выбираются из местных мещан и крестьян. Мы пишем для самых разнообразных слоев читающего общества.

Некоторые из нас говорят и пишут всегда одинаково, не обращая внимания на свою аудиторию, говорят и пишут для всех так, как можно говорить и писать только для своего маленького кружка. В результате *непонимание* речи или сочинения, иногда полное, чаще неполное, что в существе дела – одно и то же. Такого результата надо всеми средствами избегать. Какой смысл потрясать воздух словами, когда ваша речь никому непонятна?

Первая и главная забота всякого оратора и писателя – *удобопонятность*. Вторая задача – *понравиться* слушателям или читателям. Но первая – важнее.

Речь образованного общества (“литературная” речь) отличается от речи необразованных людей, главным образом, употреблением русских деланных, или искусственных слов (вроде *планомерность*) и заимствованных чужих слов (вроде *постулат*, *эвентуальный*, *франпировать*). Таких слов у образованных людей вообще много, а у некоторых даже очень много. Если слушатели или читатели знают иностранные языки, им не трудно понять в русской речи заимствованное слово, даже тогда, когда они его слышат в этой речи впервые в жизни. Но представьте себе положение людей не знакомых ни с одним иностранным языком!

Вторая задача, как я сказал, – понравиться. Дело не в одобрении, не в убеждении, не в согласии. Все это связано, главным образом, с содержанием вашей речи или статьи, а не со стилем ее; дело – в том же ее понимании слушателями и читателями.

Мы чрезвычайно легко устаем в нашем *внимании*. Образованные люди выносят из школы привычку быть внимательными сравнительно долгое время. Необразованные – зачастую перестают быть внимательными очень скоро. Усталость у них наступает быстро, и они не слушают речи, не вникают в смысл читаемого. Так, присяжные заседатели из малообразованных людей редко когда бывают способны выслушать со вниманием речи прокурора, защитника и председателя. Конечно, прокурор, как первый из говорящих, находится в более выгодном положении, чем защитник и председатель. Резюме последнего редко кем выслушивается... Речь не понравилась. Явилась усталость, и дело кончено. Как будто речи никогда не произносилось...

Газетная статья – счастливее речи. Если вы начали ее читать, и она вам не понравилась, – вы ее бросили. Но газета у вас целая, вы всегда можете вернуться к данной статье и заставить себя ее прочесть.

Приспособление необходимо. Самая лучшая речь, цветистая и образная, периодическая и связная, может не достигнуть цели, не быть выслушанной и понятой. Напротив, самая плохая, совсем жалкая по изложению речь благодаря приспособлению может дать желаемый результат.

То же можно сказать и о литературных произведениях.

Вы можете мне заметить: что же делать? Стиль, по Бюффону, это – сам человек. Себя нам не переделать, и своего стиля – также. Я вполне согласен и с Бюффоном, и с теми, кто повторяет его афоризм.

Если графологи берутся на основании вашего почерка не только определять ваш характер и ваши способности, но даже предсказывать вам будущее, то наблюдатели стиля могут по вашей устной и письменной речи также делать отличные наблюдения. Человек вялый и бесхарактерный не даст никогда сжатой и ясно изложенной речи. А человек без воображения не составит ничего образного.

Но нечто сделать для своего стиля вполне возможно. В обычной жизни адвокат иначе говорит, когда защищает на суде преступника, иначе, когда заказывает кухарке обед, и еще иначе, когда рассказывает в приятельской компании веселый анекдот. Приспособление является у него само собой, помимо его воли. Но оно может быть и по нашему усмотрению. Высокие и низкие слова, русские и иностранные слова – вполне в нашей власти. Обилие цветистости также от нас много зависит. Даже периодичность может быть уменьшаема или повышаема по желанию.

Примечания

1. Зеленин Д.К. А.И. Соболевский как этнограф // Известия АН СССР. Отделение гуманитарных наук. 1930. № 1.
2. Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды: Библиографический словарь. Т. 3. Минск, 1978.
3. Цит. по изд.: Дурново Н.Н. Академик Алексей Иванович Соболевский [Некролог] // Slavica. 1930. Roč. VIII. Seš. 4.
4. Соболевский А.И. Славяноведение в русской высшей школе // Отд. оттиск из “Славянских известий”. 1909. № 5.
5. Соболевский А.И. Гоголь в истории русской этнографии. Харьков, 1909.
6. Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков. Библиографические материалы. СПб., 1903. То же мнение он высказал в книге “Западное влияние на литературу Московской Руси XV–XVII веков” (СПб., 1899. С. 8).
7. РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Ед. хр. № 95. Лл. 1–1 об. Автограф (3 октября 1925 г.).

8. Монографии по истории русского языка, а также отдельные статьи и рецензии по вопросам сравнительно-исторического и славянского языкознания были собраны, опубликованы и прокомментированы В.Б. Крысько в изд.: *Соболевский А.И.* Труды по истории русского языка. Т. 1–2. М., 2004–2006.
9. Из посвящения учеников и почитателей, предварявшего юбилейный “Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского”. Л., 1928. С. I.
10. Новые материалы к биографии ученого см.: *Никитин О.В.* Алексей Иванович Соболевский (К 150-летию со дня рождения) // Русский язык в школе. 2006. № 6; *Он же.* Алексей Иванович Соболевский // Московский журнал. История государства Российского. 2007. № 1; *Он же.* “Нестор славянских филологов” (К 150-летию со дня рождения академика Алексея Ивановича Соболевского) // Вестник Смоленского государственного университета. Серия “Филология”. 2007. № 1.
11. Первая и единственная публикация: *Соболевский А.* О стиле. Харьков, 1909. В заголовке статьи дана ссылка: “Читано в С.-Петербургском Обществе любителей ораторского искусства 1 марта 1909 г.”.
12. Сочинения М.В. Ломоносова. Изд. Имп. Академии наук. Т. 4. С.-Петербург, 1898. С. 225. (Здесь и далее примечания А.И. Соболевского. – *О.Н.*).
13. Вестник Европы. 1811. № 19.
14. Мы читаем в “Полтаве”: И се, долину оглашая, далече грянуло ура; Умолк и закрывает вежды изменник русского царя; Он дал бы грады родовые; Нависли хладные штыки; и т.п.
15. В “Утопленике”: Врите, врите, *бесенята*, заворчал на них отец. Ох, уж эти мне ребята; будет вам уже мертвец!

*Вступительная статья, подготовка текста и примечания
доктора филологических наук, профессора
О. В. Никитина*



Охранные надписи на древнерусском серебре

© В. В. ИГОШЕВ,
кандидат искусствоведения

Проблема сохранения предметов из драгоценных металлов как культурного наследия всегда являлась важной и актуальной. Памятники древнерусского серебряного и золотого дела на протяжении столетий гибли в огне частых пожаров, расхищались во время междоусобных войн и вражеских набегов, уничтожались вследствие ветхости, переделывались частично или полностью, и поэтому наши сведения о них во многом отрывочны. Особенно много серебра и золота было утрачено в Смутное время в начале XVII века.

Неоценима заслуга сотрудников музеев, работавших в 1920-е годы, в спасении уникальных древнерусских памятников золотого и серебряного дела в период кампании по изъятию и уничтожению церковных ценностей в 1922–1926 годах. Работники столичных и провинциальных музеев принимали участие в первичной экспертизе церковных ценностей с целью выявления наиболее значимых в историческом и художественном плане предметов, пытаясь отстоять и сохранить как можно больше произведений церковного искусства. Из Великого Новгорода, Ярославля и других регионов России изделия поступали в Гохран и в Оружейную палату Московского Кремля, где производилась их вторичная экспертиза и сортировка. Большая часть самых ценных предметов в результате экспертизы была оставлена в Оружейной палате или отправлена во многие провинциальные музеи (по месту поступления), другая часть отнесена к антиквариату и была распродана. Огромное количество произведений из золота и серебра, большей частью XVIII–XIX веков, переплавлено.

Однако, несмотря на многочисленные и порой невозможные потери, в музейных собраниях России сохранились тысячи замечательных произведений, являющихся вехами в истории древнерусского декоративно-прикладного искусства, а имеющиеся на них надписи с именами и

датами содержат ценные сведения, не менее значительные и интересные, чем архивные документы, позволяющие получить более глубокие представления об уровне отечественной культуры.

О важности изучения подобных надписей при глубоком анализе памятников церковной археологии писал еще в начале XX века А.П. Голубцов: “Знание эпиграфического языка и умение отличить подлинные надписи от поддельных было бы весьма важно в том отношении, что могло бы предохранить от исторических ошибок...” [1]. Эпиграфический метод анализа при исследовании произведений древнерусского художественного серебра широко использовали Б.А. Рыбаков [2], М.М. Постникова-Лосева [3], Т.В. Николаева [4], А.А. Медынцева [5] и другие ученые.

На предметах древнерусского художественного серебра в конце XV века появляется вязь, вначале простая, а с XVI–XVII веков – более сложная для чтения с вплетенными среди букв мелкими листьями, цветками, завитками трав, бусинами, иногда – различными изображениями. Такие надписи, сделанные в технике гравировки, оброна, чеканки, тиснения, иногда контрастно выделялись чернью или эмалью. Чаще всего они помещались сплошной полосой по венцам чаш и поддонов различных сосудов и других предметов, иногда – в кругах, реже – в ромбах. Надписи часто золотились, контрастно выделяясь на фоне гладкого металла, при этом они несли в себе не только смысловую нагрузку, но и подчас были единственным украшением предмета и напоминали сложный орнамент.

Глубокие многовековые традиции, вкусы заказчика и мастера-исполнителя влияли на типологию и характер надписей. Последние были вкладные, владельческие, наградные, литургические, охранные, а также – с обозначением веса серебра и золота, с изречениями, наименованиями мощей и священных реликвий и другие. Иногда надписи дают представление о назначении предмета и его наименовании, свидетельствуют о небольших локальных “поновлениях” или тотальных переделках. Очень редко встречаются подписи с именами мастеров – авторов, изготовивших эти произведения.

До настоящего времени особенно мало изучены интереснейшие охранные надписи, встречающиеся на древнерусском серебре и наиболее часто – на предметах драгоценной церковной утвари. *Утварь* в переводе с церковнославянского означает – творение, украшение, убранство [6]. Нередко встречаются охранные надписи, направленные против их отчуждения, иногда со страшным заклятием и анафемой.

Нарушить заветное в средние века считалось невозможным, его всегда опасались. Подобная форма заветного употреблялась в Древней Руси еще в домонгольский период на вкладных грамотах церквам и монастырям. Имелась она и на уникальном золотом кресте Евфросинии Полоцкой 1161 года работы русского золотых дел мастера и эмалиера Лазаря Богши. На боковых сторонах шестиконечного креста сделана надпись:

“...да не изнесеться из монастыря никогда, яко ни продати, ни отдати, аще се кто преслоушаеъ изнесеть и от монастыря, да не боуди емоу по-мошньник чьстьный крст ни в с век, ни в боудущи и да боудтъ проклят с(вя)тою животворящею троицею и с(вя)тыми отци т (300) и ни семию събор стых отць и боуди емоу часть с иудеоу, иже преда х(ри)с(т)а кто же д(е)ръзнуть сътвори с(утраты) властелин, или князь, или пискоуп, или игоуменья или ин которые любо члвк, а боуди емоу клятва си. офросинья же раба х(ристо)ва, сътяжавъши крст сии примет вечную жизнь с все(ми святыми)” [7]. Золотой крест Евфросинии Полоцкой был похищен немецко-фашистскими оккупантами в 1941 году и вывезен из страны, место его нахождения в настоящее время не установлено.

На сохранившихся в музейных собраниях серебряных предметах церковной утвари XVI–XVII веков имеются надписи с закланием, схожие с древнейшей надписью на кресте XII века. Например, на серебряной водосвятной чаше 1595 года, вложенной И.И. Шуйским в суздальский Рождественский монастырь, по венцу гравировано: “...аще хто восхошет пре-обидите с(вя)тую церковь и изнести чашу сию, по святых отец правилом в каком сану ни будь хто, да извержется сана своего, аще ли величием не-годованием негодовати начнет, да будет проклят в сей век и в будущем амин” [8]. Интересно, что в этой надписи имеется ссылка на древнейшие “Святых отец правила”, которые указывают, что драгоценные церковные предметы, так же как и светские вещи, вложенные в храм и затем освященные и используемые в богослужении, в последующем уже не могут применяться вне церкви. Церковные Правила утверждают: “Сосуд златый, или серебряный освященный, или завесу, никто уже да не присвоит на свое употребление” [9].

Схожие надписи с закланием имеются и на других предметах. На серебряном окладе Евангелия новгородской работы 1661 года, сделанном по заказу игумена Ситецкого монастыря Филарета, гравировано: “...и хто сие евглие, потир из цркви украдет или заложит или продаст или от него что отоимет будет проклят”.

Аналогичная надпись, но более краткая имеется на серебряной чарке 1657 года, вложенной патриархом Никоном в Крестный монастырь на Кий-острове: “а хто украдет будет проклят” [10].

Редкой является надпись с анафемой, гравированная на нижней стороне серебряного ковчега для святых даров 1695 года из ярославской церкви Петра и Павла: “...а не отлучи(т) сего ковьчега от с(вят)аго пре(с)тола аще постигне кто сие со(т)ворити да буде(т) анафема о(т)луче(н) буде(т) от с(вя)тыя троицы и п(р)ичте(н) буде(т) во иудино место предателя на веки з бесы мучитися...”. Как известно, отлучение от Церкви было высшей церковной карой за тяжкие преступления.

Охранные надписи с указанием на Судный день имеются на ряде памятников серебряного дела XVII века. Например, на серебряной водосвятной (“святководной”) чаше 1631 года, вложенной в Троице-Сергиев

монастырь келарем старцем Александром Булатниковым, гравировано: "...а хто сию чашу из дому живоначал(ь)ные троицы возьмет или власти продадут или кому отдадут судим будет со мною на втором хр(и)с(то)ве пришествии" [11].

Схожие надписи имеются на серебре середины XVII века. На водосвятном блюде 1659 года из новгородского Вяжищского монастыря по широкому борту вырезано: "...а кто покусится сие блюдо и(з) цркви взяти суетнаго ради свое(го) прибытка и того имат б(о)г судити со мною во он д(е)нь".

На серебряном потире 1653 года, вложенном Патриархом Никоном в Иверский монастырь близ Валдая, вкладная надпись заканчивается словами: "...ащели кто от з(с)трашия преобидит дом пресвятыя бдцы и великого хрства угодника Филиппа и сие сосуды изнесет и того судит по неправе его, яко свтотатца" [12. С. 53].

Примечательная охранный надпись со ссылкой на Ананию и Сапфиру имеется на серебряном блюде 1653 года, вложенного Патриархом Никоном в Иверский монастырь: "...а кто сие блюдо какою мерою в корысть себе вочтет, да даст б(о)г ему таковое зло, якоже анании и сапфире" [12. С. 50]. Имена Анании и его жены Сапфиры, живших во времена первых апостолов, упомянуты в Евангелии (Деян. V, 1–10). Супруги были обличены апостолом Петром во лжи не людям, а Духу Святому, так как, продав имение, из корысти утаили часть выручки, вследствие чего неожиданно умерли.

Нередко встречались более простые и краткие надписи, направленные против отчуждения богослужебных предметов. Например, подобные тексты имеются на группе серебряных кадильниц XVII века, происходящих из ярославских храмов: "...дал сие кадило михайло полуектов в вечно"; "...и сему кадилу у тоя церкви"; "...тому кадилу неотъемлемому от церкви..."; "...быть ему не отъемлемому от церкви"; "...а не властвовать тем кадилом никому ни дьякону ни приходским людям" [13].

На бронзовой ладанице XVII века, вложенной в новгородский Десятинный монастырь по князе С.Н. Гагарине, имелась простая охранный позолоченная надпись: "...и того сосуда игумени и сестрам не продати" [14].

Встречающиеся надписи на драгоценных предметах, направленные против отчуждения и, особенно, с заклатьем, были призваны способствовать сохранности вещей. Для миропонимания средневекового человека было закономерно и естественно, что написанное на предмете **слово** надежно защищало от злого умысла.

В настоящее время одним из актуальнейших способов решения проблемы сохранности древнерусского серебра является глубокое всестороннее их исследование и каталогизация. Публикация памятников – это своего рода "охранная грамота", призванная защитить и уберечь для последующих поколений наше наследие, поскольку значительный пласт

русского серебра XVI–XVII веков, особенно в региональных музеях все еще не введен в научный оборот и остается вне внимания исследователей.

Литература

1. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. (Репр. изд.). СПб., 1995. С. 352.
2. Рыбаков Б.А. Русские датированные надписи XI–XV вв. М., 1964.
3. Постникова-Лосева М.М. Русское ювелирное искусство: его центры и мастера XVI–XIX вв. М., 1974. С. 21–22.
4. Николаева Т.В. Произведения русского прикладного искусства с надписями XV – первой четверти XVI вв. // Археология СССР. Свод археологических источников. М., 1971. Вып. Е1–49.
5. Медынцева А.А. Грамотность в Древней Руси. По памятникам эпиграфики X – первой половины XIII века. М., 2000.
6. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. (Репр. изд.). М., 1989. Т. 3. Ч. 2. Ст. 1303.
7. Алексеев Л.В., Макарова Т.И., Кузмич Н.П. Крест – хранитель всея вселенныя. Специальный выпуск журнала “Вестник Белорусского Экзархата”. Минск, 1996. № 15/1. С. 43–44.
8. Трофимова Н.Н. Русское прикладное искусство XIII – начала XX в. из собрания Государственного объединенного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. М., 1982. Кат. 126. С. 211–212.
9. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. СПб., 1911. Т. 1. С. 154.
10. Святейший Патриарх Никон. Каталог выставки. М., 2005. С. 65.
11. Николаева Т.В. Собрание Древнерусского искусства в Загорском музее. Л., 1968. Кат. 128. С. 234.
12. Рогожкина Е.И. Личные вещи и вклады Патриарха Никона из фонда драгоценных металлов музея “Новый Иерусалим” // Никоновские чтения в музее “Новый Иерусалим”. М., 2002.
13. Игошев В.В. Ярославское художественное серебро XVI–XVIII вв. М., 1997. Кат. 72. С. 223; Кат. 74. С. 223; Кат. 77. С. 223–224; Кат. 79. С. 224; Кат. 84. С. 226.
14. Макарий, архим. Археологическое описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях. М., 1860. Ч. 2. С. 228.



БЫВАЮТ ЛИ “КАЧЕСТВЕННЫЕ” ИМЕНА?

© Т. И. СОКОЛОВА

Со школы мы привыкли к четкой системе частей речи, которую составляют имена, глагол, местоимение, наречие и т.д., при этом имена подразделяются на имена существительные, имена прилагательные, имена числительные. А всегда ли так было?

Еще во времена Античности, когда наука о языке только зарождалась в рамках философии, ученые-философы (Платон, Аристотель) рассматривали имена, не дифференцируя их, противопоставляя глаголу [1]. Такая тенденция перешла и в восточнославянскую грамматическую традицию. В работах Иоаннна Дамаскина (грамматика Псевдодамаскина), в “Адельфотисе”, грамматиках Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого имена описывались без разграничений. Однако известны некоторые наметки деления, например, в “Донате” упоминается особая разновидность имен – *прилагаемые* – “имена нарицательные токмо качество или количество знаменующие”, в “Адельфотисе” пока без определения появляются *числительные имена* [2]. В XVIII веке в “Российской грамматике” М.В. Ломоносова существительное, прилагательное, числительное еще не получают статуса отдельных частей речи [3]. Четкое разделение имен произошло только в первой половине XIX века, в “Русской грамматике” А.Х. Востокова [4].

В отечественном языкознании одним из первых своеобразную попытку разделения имен предпринял Н.И. Греч, ученый первой половины XIX века. Он стал особо рассматривать две группы имен: *имена существительные* и *имена качественные*. В этом отношении показательно определение, которое языковед дал понятию “часть речи”, где отразилась специфика этих двух классов слов: “...части речи, служащие к наименованию предметов и их качеств...” [5. С. 99].

Заметим, здесь на первый план выдвигаются слова-наименования предметов и качеств, то есть *имена существительные* и *имена качественные*. При подходе к именам существительным грамматист доста-

точно традиционен, а термин и понятие “имена качественные” в свою очередь проявляются в лингвистике под непосредственным влиянием Н.И. Греча.

Н.И. Греч понимал *имена качественные* достаточно широко: “часть речи, коюю означает качество существа, называется вообще именем качественным” [5. С. 178]. Следовательно, по его мнению, все языковые явления, обозначающие качество, признак, относились к этому классу. Так, в составе *имен качественных* оказались *имена прилагательные, причастия*, отдельные разряды *наречий* (например, *хорошо, красиво*), а также *деепричастия*.

Подобное нововведение Н.И. Греча было воспринято критикой неоднозначно. Большой частью оценки идеи об *именах качественных* носили отрицательный характер, поскольку с позиций традиционного учения о частях речи ученый допустил ошибку, подведя под одну часть речи разные грамматические явления. Пожалуй, некоторые сомнения по этому поводу были и у самого Н.И. Греча. На это указывает несоответствие его системы частей речи непосредственному описанию последних в работах ученого, в частности, в “Пространной русской грамматике” 1827 года.

Н.И. Греч как особую часть речи определяет *имена качественные*, которые в общем списке *частей и частиц речи* делятся внутри себя на имена *прилагательные, причастия, наречия* и *деепричастия*. Однако при переходе от списка частей речи к конкретному описанию схему пришлось изменить. Так, в “Пространной русской грамматике” после главы об именах существительных идет глава об именах прилагательных (не об *именах качественных*!), далее отдельные главы о причастиях и наречиях.

Таким образом, при конкретном описании *имена качественные* распались. Логичнее было бы в данном случае рассматривать все эти части речи и формы слов (пользуясь современным пониманием) в рамках одной главы об *именах качественных*.

Введение Н.И. Гречем понятия “имен качественных” повлияло не только на трактовку прилагательных, причастий, деепричастий и наречий, но и на трактовку глагола. По мысли ученого, все глаголы подразделяются на “самостоятельные” (только быть) и “сокоупные”, которые представляют собой соединение действительного причастия, то есть признака, качества и глагола *быть*. “Если же нужно присокупить действительное причастие к имени существительному посредством глагола *быть*, как сказуемое, то оно сливается с сим глаголом и составляет глагол сокоупный” [5. С. 239]. Так, исходя из этого, словосочетание *гром гремит* тождественно сочетанию *гром есть гремлящ*. Подобная идея Н.И. Греча также не вызвала сочувствия критики. Н.С. Поспелов обвинил лингвиста в создании так называемой “гипертрофированной категории качественности”, из-за которой в грамматике Н.И. Греча “внутренне подрывается сама суть глагола как выражения действия” [6].

Несмотря на столь явное, резко отрицательное отношение критики к именам *качественным* Н.И. Греча, следует отметить, что данный подход в свете современных лингвистических теорий правомерен. Учение о частях речи получило развитие за счет рассмотрения таких вопросов, как “зоны синкретизма” (В.В. Бабайцева), “гибридные части речи” (В.В. Виноградов), “функционально-семантические категории” (А.В. Бондарко), “сверхклассы” (Д.А. Штелинг). Действительно, выделенные Н.И. Гречем *имена качественные* фактически отражают реально существующее явление взаимодействия в структуре языка различных частей речи.

Покажем это на примере имен прилагательных, наречий, причастий и деепричастий в трактовке Н.И. Греча.

Н.И. Греч так определяет *имя прилагательное*: “Одни выражают качества, например: величину, цвет, вкус... Сии качественные имена называются прилагательными” [5. С. 178].

Помимо традиционно принятых прилагательных типа *синий, новый, вчерашний* Н.И. Греч включает в состав прилагательных и слова, которые в современной грамматике рассматриваются как местоимения, например, *весь, иной*. В “Пространной русской грамматике” Н.И. Греча несколько иначе, чем в современной грамматике, обозначен статус прилагательного: это не отдельная самостоятельная часть речи, а составная часть *имен качественных*. Однако в современной лингвистике существует точка зрения, в свете которой правомерно подобное деление. Например, в работе Д.А. Штелинга рассматривается понятие “сверхкласса”, единицы более высокого уровня, чем часть речи. Классы слов, входящие в сверхкласс, объединяются, исходя из особенностей семантики [7]. Так, при выделении сверхкласса *имен качественных* Н.И. Греч во главе угла поставил сему признака, качества, свойства. Следовательно, под *имена качественные* подводятся имена прилагательные, отдельные разряды наречий, причастия, деепричастия. Таким образом, с этой позиции идею Н.И. Греча об отнесении имен прилагательных, а также наречий к именам *качественным* можно считать перспективной.

В современной грамматике *причастия* и *деепричастия* считаются особыми глагольными формами [8]. Некоторыми учеными причастие и деепричастие рассматриваются как отдельные части речи, например, в работах Д.Н. Овсяннико-Куликовского, В.В. Бабайцевой. Н.И. Греч дал им такое определение: “Другие имена качественные изображают силу, движение, действие, в пределах ли существа или вне оных, и именуются причастиями”; “Деепричастие есть наречие отглагольное, или наименование действующего качества другого качества” [5. С. 178; 368].

Н.И. Греч включил причастия в состав *имен качественных*, а деепричастия вошли в наречия. Таким образом, исходя из положения слов данных классов в системе *частей и частиц речи* Н.И. Греча, можно говорить о доминанте у них значения признака, качества, именно за счет этого причастия и деепричастия входят в число *имен качественных*. Однако

определения терминов *причастие* и *деепричастие* подводят к несколько иному выводу. В обеих дефинициях Н.И. Греча присутствует указание на связь слов этих классов с глаголом: "...изображают силу, движение, действие...", "наречие отглагольное", "...наименование действующего качества...". Подобное толкование свидетельствует о том, что Н.И. Греч отмечал так называемый "гибридный" характер причастий и деепричастий [9], то есть связанность их в первом случае с глаголом и прилагательными, во втором – с глаголом и наречием.

Таковы основные особенности выделенных Н.И. Гречем *имен качественных*. Итак, несмотря на некоторые недостатки при описании ученым имен, в частности, приверженность семантическому принципу, можно отметить положительные моменты: он один из первых попытался разграничить столь долго существовавшую категорию имен, а также обратил внимание на существование в языке семантических единств, которые выражаются различными грамматическими средствами (*имена качественные*).

Литература

1. Симашко Т.В. История лингвистических учений: Античность. Средневековье. Архангельск, 2001. С. 50–54.
2. Мечковская Н.Б. Ранние восточнославянские грамматики. Минск, 1984. С. 85.
3. Ломоносов М.В. Российская грамматика. СПб., 1755. С. 23–24.
4. Востоков А.Х. Русская грамматика. СПб., 1844. С. 40.
5. Греч Н.И. Пространная русская грамматика. СПб., 1827.
6. Поспелов Н.С. Учение о частях речи в русской грамматической традиции. М., 1954. С. 12.
7. Штелинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка: Фактор человека в языке. М., 1996. С. 82.
8. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 399. 128.
9. Виноградов В.В. Русский язык: грамматическое учение о слове. М., 1972. С. 295.

Вологда



Иноязычная лексика в путевой литературе Петровского времени

© К. ТРИБУНСКАЯ,

© В. САЙНБАЯР

Путевые записки рубежа XVII–XVIII веков – литературный жанр, сфокусировавший в себе основные просветительские идеи Петровской эпохи. Создателей произведений, как светских путешественников, так и паломников в Святую землю, отличает повышенное внимание к культуре и быту других народов, индивидуально-авторское начало, появившееся в изложении событий “путного шествия”, в описании святынь и “диких” чужих земель. Выходя за рамки канонического искусства Древней Руси, они искали новые художественные формы и приемы изображения быстро меняющейся действительности, способы обновления языка и стиля “хождений”.

В это время уже существовала паломническая разновидность путевой литературы, представленная произведениями московского священника-старообрядца Иоанна Лукьянова (1701–1703), церковнослужителя при русской посольской миссии в Турции Андрея Игнатьева (1707–1708), богатого ярославского купца Матвея Нечаева (1721–1722). В русле новой и активно развивавшейся светской формы путевой литературы создавались записки известных государственных деятелей, “птенцов гнезда Петрова”, Б.П. Шереметева, П.А. Толстого, А.М. Апраксина, которые с дипломатической и образовательной целью путешествовали по Европе в

1697–1699 годах. Изображение жизни “иных языщей” требовало пополнения русской лексики писателей за счет заимствований.

Значительная часть маршрута как паломников по странам христианского Востока, так и светских вояжеров по Западной Европе проходила по рекам и морям, поэтому устойчивой группой заимствований была лексика, связанная со средствами передвижения по воде. Для паломнических хождений это названия судов, заимствованные из греческого (*каторга*, *трикаторга*) или турецкого (*каик*, *санда*, *шайка*) языков; для светских путевых записок – специальные термины из европейских языков: голландского (*барка*, *яхта*), французского (*галиот*, *фрегат*), итальянского (*галера*, *гондола*). Например, Иоанн Лукьянов создавал свое “Хождение в Святую землю” в период становления российского флота, активно пользуясь европейской терминологией из области морского дела. В лексикон писателя-паломника вошли такие слова: *каюта* (гол.), *корсар* (ит.), *матрос* (гол.), *фортуна* (лат.) в значении “шторм”, *сары* (англ.) – “иностранные работники на корабле”.

В сюжете любого путешествия особое место занимают сцены, связанные с пересечением границ. Попад на территорию Турции, русские паломники платят *гарач* (дань с христиан), вручают *юмрукчею* (таможеннику) *ферман* (проезжую грамоту) и *пешкеш* (подарок). Светские путешественники П.А. Толстой и Б.П. Шереметев, упоминая в записках о специальном документе для выезда за границу, оперируют заимствованными из европейских языков терминами *паспорт* (ит. *passporto* – “разрешение на проезд через порт”) и *лицензия* (лат. *licentia* – “позволение”). “В 5-м часу дня приехал я в Мальт и въехал под городом Малтом в мальтийской порт, – вспоминал П.А. Толстой, – встретил нас в барке один человек и взял у меня мои *паппорты*, то есть проезжие листы, которые я взял из Неаполя” [1. С. 157]. В путевом дневнике Б.П. Шереметева содержится запись: “Тотчас мне дали *лиценцию*, то есть позволение ехать в Рим” [2. С. 88].

Среди паломников Петровского времени были и купцы (Иоанн Лукьянов, Матвей Нечаев), что объясняет наличие в их записках иноязычной лексики из области экономики и торговли. Значительную часть заимствований этого рода составляют тюркизмы или слова арабского и персидского происхождения, например: *базар*, *казна*, *караван*, *харч* и др. Широко представлена в путевой литературе, паломнической и светской, иноязычная лексика из сферы денежного обращения разных стран: *аспра* (гр.), *дукат* (ит.), *левок* (гр.), *пара* (тур.), *талер* (нем.). В Константинополе, по словам Иоанна Лукьянова, “ходят левки червонные, аспры, пары” [3]. Чтобы сделать текст понятным читателю, путешественник обычно переводил сумму в иностранной валюте на привычный для русского человека счет денег, например: “...тем дватцати человекам дано по дукату, а на московской счет по 15 алтын”; “... а которых девки-невесты похотят замуж, и таким на приданое дают по сту скудов, а скуд считается близко рубля...” [2. С. 34, 49].

Главным объектом описания в светской путевой литературе Петровского времени являлись достижения западной культуры. “Путешествие” П.А. Толстого по праву называют “энциклопедией” европейской жизни конца XVII века, поскольку оно является не только отчетом московского стольника о пребывании за границей, но и книгой, которая приобщала русских людей к европейскому опыту в развитии военного искусства, культуры, экономики и политики. Хотя П.А. Толстой был отправлен в Италию для освоения мореходного дела, автор произведения определил цель путешествия иначе – изучение “всяких изрядных вещей, которые зрению человеческому сладки обретаются” [1. С. 25]. Широта охвата европейской действительности, разносторонность сведений о странах, которые посетил и описал русский стольник, привели к тому, что объем иностранных слов в языке “Путешествия” велик.

Обширный языковой пласт образуют иностранные слова, обозначающие реалии общественного и частного быта, в основном итальянского (*балдахин, карета, остария*) и немецкого (*камин, кафель, флер*) происхождения. Большая группа заимствований связана со сферой социальных отношений. Это названия лиц согласно их общественному положению, служебно-административной должности, профессиональной принадлежности: *сенатор, медицин* (лат.); *кавалер, камарер* (ит.); *граф, кухмистр* (нем.). Текст путевых записок П.А. Толстого включает термины из сферы экономики (*интрата, маркандия, ретратта* – ит.) и политики (*декрет, электор, республика* – лат.). Лексика из области военного искусства представлена заимствованиями из французского (*цитадель, бастион, бомба, пистолет*), немецкого (*драбант, офицер, солдат*), итальянского (*гвардия, кавалерия, граната*) и др.

В “Путешествии” П.А. Толстого культурологический аспект восприятия и изображения “латинского Запада” являлся главным, поэтому самый значительный в произведении корпус заимствований – термины из области искусства, науки и просвещения. С XVII века Италия стала местом паломничества, так как была сокровищницей памятников. Не случайно в книге Толстого лексика, относящаяся к музыке, театру, архитектуре, скульптуре и живописи, имела итальянское происхождение: *бельвард* (*бельведер*), *галлерия* (*галерея*), *картина, кантата, карнавал, капитель, машинара* (*маска*), *опера*. Среди рассказов о “диких винах” западной культуры в путевых записках Петровского времени обязательно присутствует описание фонтана (ит. *fontana*). Толстого, осваивавшего в Италии науку “навтичных дел”, особенно поразил фонтан в Ватиканском парке, сделанный в виде корабля: “На том карабле зделаны щеглы, и раины, и пушки; и как в тот карабль пустили воды, и на том карабле зделались из воды веревки, и парусы, и всякие инструменты, которым на карабле быть потребно. Также ис пушек, которые на том карабле зделаны, побежали воды, и отдавались голоса власно как бы стреляли” [1. С. 196].

Научная терминология, универсальная для европейских языков, представлена в записках Толстого словами: *анатомия, астроном* (греч.); *деклинация, дифференция, навигация* (лат.). Латинизмы преобладают среди заимствований, касающихся системы просвещения и образования, различных областей знания: *академия, коллегium, инспектор, дирекция, диспут, комплексия, рацея, аттестация*. Обилие иноязычной лексики из этой области, а также “тщательность описаний, любовь к конкретности и научной точности, лаконизм стиливой манеры” сближают книгу Толстого с “учеными путешествиями XVIII–XIX вв.” [4. С. 97] и свидетельствуют не только о развитом интеллекте автора “Путешествия”, но и о высоком уровне развития русской культуры и русского языка конца XVII – начала XVIII века [5. С. 131, 136].

Доказательством этого могут служить и путевые записки Б.П. Шереметева. Они создавались в традициях жанра статейных списков, где главным был подробный рассказ о выполнении дипломатической миссии с обязательным описанием церемонии приема русских послов, что требовало использования определенной терминологии, в основном заимствованной из латинского языка – *аттестат, аудиенция, визит, канцлер, консул, патент, патрон, процессия*, например: “Боярин просил его *секретаря*, чтоб принят был *приватно, без церемонии*” [2. С. 10]. Как и П.А. Толстой, Б.П. Шереметев был профессиональным военным; его записки о Европе поражают хорошо развитой системой военной терминологии, в частности, представленной заимствованиями, обозначающими армейские чины и звания: *генерал, генералиссимус, генерал-фельдмаршал, капитан, полковник, ротмистр, солдат, фельдмаршал, хорунжий (хорунжий)* и т.п. Военная лексика иностранного происхождения широко использовалась не только в путевых записках, но и в эпистолярной государственного деятеля, который состоял в переписке с Петром I и после сдачи шведами Копорья доносил царю: “Слава Богу, музыка твоя, государь, – *мортиры бомбами* – хорошо играет: шведы горазды танцевать и *фортеции* отдавать; а если бы не *бомбы*, Бог знает, что бы делать” [6. С. 227].

В записках современника П.А. Толстого и Б.П. Шереметева А.М. Апраксина, чье путешествие по Европе было связано с деятельностью Великого посольства, гораздо меньше внимания уделяется дипломатическим приемам, чем светской программе миссии. Основной интерес автора сосредоточен на “дикихинах” европейской культуры и быта. Среди зрелищ, подробно описанных “Неизвестной особой”, торжество по случаю заключения Рейсвикского мира между коалицией европейских государств, куда входила Голландия, и Франция. Русский вояжер именует празднество латинским словом *триумф (triumphus)*. В отличие от Петра Первого, также наблюдавшего за торжеством и доносившего в Москву о “мире с французом” и “фейерверке в Гаге” [7. С. 208], автор “Путешествия” заменяет неизвестное ему слово *фейерверк* (нем. *feuerwerk*) слово-

сочетанием *огненные потехи* и рассказывает о запуске *ракет* (нем. *ra-kete*), которых “за одну ночь чаятельно несколько сот тысяч пущено, от огня не видать было неба, и стрелба была великая во всю ночь на радости, что мир состоялся у всех европейских государей с французским королем” [8. С. 178]. Если царя в описании этого события интересует прежде всего его политический смысл (“Дураки зело ради, а умные не ради”, так как “француз обманул и чают вскоре опять войны”), то менее дальновидного и хуже осведомленного в истинном положении дел А.М. Апраксина занимает эстетическая сторона зрелища.

Способы и приемы ввода иноязычного слова в текст путевых записок варьировались путешественниками в зависимости от уровня владения ими иностранными языками, от цели путешествия и авторского замысла, а также от предполагаемой читательской аудитории. Заимствование обычно сопровождал перевод на русский язык: “... и тамо обретается человек боголюбивый именем Феодор, по их называется *хаджий* или *проскинитис*, а по-нашему *поклонник Гроба Господня*” [9. С. 51]; “... посылаются от гишпанского короля из наизнатнейших особ *вицерови*, сиречь *наместники*...” [2. С. 54].

Значение иноязычной лексемы часто раскрывалось через описание реалии, которую она обозначала. Б.П. Шереметев тайно прибыл в Венецию, чтобы увидеть “карнавал, собрание всяких игр” [2. С. 36]. В “Хождении” Иоанна Лукьянова отмечается, что турки “сами вина не пьют, толко воду да *казве*, *черную воду гретую*” [3. С. 130].

Толкование заимствования могло осуществляться через сравнение неизвестного с известным, что было характерно для путевой литературы со времени “Хождения” игумена Даниила (нач. XII в.). П.А. Толстой сообщал в “Путешествии”, что “*штылеты*” венецианских дворян и купцов “подобны ножам остроколым”, а рыба, которую испанцы называют *тунды*, “великостью с малаго осетра, толко толще осетра, голова подобна семге” [1. С. 54, 176].

Ввод иностранного слова иногда сопровождался этимологической справкой, где давалось указание на источник заимствования: “*Анисовая водка*, которую сидят из виноградных вин, что по-итальянски называется *аква вита*” [1. С. 71]; “... письмо греки называют *хара*ч, а по-турецки *кегарды* или *тягата*” [10. С. 8].

Нередко только контекст позволял “проявить” семантику неизвестного иностранного слова, при этом читатель должен был опираться на собственный культурно-языковой опыт. В тексте часто присутствовали индикаторы – слова и словосочетания, помогающие раскрыть значение заимствования: «Тут в Олмунце наняли *ланкучов*, – читаем в “Записке путешествия” Б.П. Шереметева, – и поехал боярин в коляске, а люди все в большом *ланкучском фурмане*, а с Тарнопичь до Олмица ехали саньми» [2. С. 18].

Анализ иностранных “речений” в путевых записках позволяет очертить границы языковых контактов России Петровского времени и выявить приоритеты в области лексического заимствования субъективного (для данного автора) и объективного (для русского языка в целом) характера. Тематическое и языковое разнообразие иностранной лексики, а также варьирование способов и приемов ее включения в русский текст доказывают, что употребление заимствований является стилеобразующим признаком путевых записок как особой литературной формы.

Литература

1. Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе 1697–1699. Изд. подгот. Л.А. Ольшевская, С.Н. Травников. М., 1992.
2. Записка путешествия генерал-фельдмаршала российских войск графа Бориса Петровича Шереметева в европейские государства, в Краков, в Вену, в Венецию, в Рим и на Мальтийский остров. М., 1773.
3. Путешествие в Святую землю священника Лукьянова // Русский архив. М., 1863. Вып. 1–5.
4. Травников С.Н. Путевые записки Петровского времени (проблема историзма). М., 1987.
5. Мальцева И.М. Записки путешествий XVIII века как источник литературного языка и языка художественной литературы (к постановке вопроса) // Язык русских писателей XVIII века. Л., 1981.
6. Устрялов Н.Г. История царствования императора Петра Великого. СПб., 1863. Т. IV. Ч. 1.
7. Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1887. Т. 1.
8. Дневник участника русского посольства в страны Западной Европы в конце XVII в. // Источники по истории русского языка. М., 1976.
9. Путешествие из Константинополя в Иерусалим и Синайскую гору находившегося при российском посланнике, графе Петре Андреевиче Толстом, священника Андрея Игнатьева и брата его Стефана в 1707 году // ЧОИДР. М., 1873. Кн. 3. Отд. V.
10. Барсов Н.П. Путешествие посадского человека Матвея Гаврилова Нечаева в Иерусалим // Варшавские университетские известия. 1875. № 1.

И.А. Ильин о русском языке

© М. Р. ТАРАСОВА,
кандидат филологических наук

Язык – важнейший инструмент этнокультурного самосознания, самоопределения человека (народа) перед лицом Божиим. Именно так понимал феномен языка известный русский философ И.А. Ильин (1883–1954). Он, в частности, писал: “Дивное орудие создал себе русский народ – орудие мысли, орудие душевного и духовного выражения, орудие устного и письменного общения, орудие литературы, поэзии и театра, орудие права и государственности – наш чудесный, могучий и глубокомысленный *русский язык*” [1. С. 113], язык, который “вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа” [2. С. 202].

Русский язык воплощает в себе прежде всего русскую душу с ее “всемирной отзывчивостью”. Недаром И.А. Ильин подчеркивает тот факт, что “всякий иноземный язык будет им [русским языком. – М.Т.] уловлен и на нем выражен; а его уловить и выразить не сможет ни один” [1. С. 113]. Русский язык выразит точно – “и легчайшее, и глубочайшее; и обыкновенную вещь, и религиозное парение; и безысходное уныние, и беззаветное веселье; и лаконический чекан, и зримую деталь, и неизреченную музыку; и едкий юмор, и нежную лирическую мечту” [1. С. 113]. Таков диапазон возможностей русского языка, поистине равнозначного *голосу самой России*.

В другой работе И.А. Ильин уточняет: “Язык наш, как и всякий язык, не выдуман, а выстрадан, и притом всенародно, и притом на протяжении веков. Он, подобно пению, родился из всенародного стога и вздоха. *Стон* же есть звук страдающей и влекущейся души. И не естественно ли, что люди единой крови и единого духа стонут однородно из сходно страдающих и сходно влекущихся душ? *Вдох* есть живой ритм жизни – и тела (легкие, дыхание), и души (воздыхание, смех и плач); и не естественно ли, что этот ритм однороден у людей единой крови и единого духа? Это стихия *пения* и *музыки* в языке. <...> Правы были греческие мудрецы и отцы церкви, утверждая, что слово внешнее, слышимое есть звуковая явь неких неизреченных духовных глаголов, рождающихся внутри человека и сокровенно пребывающих в его духовном опыте” [3. С. 209].

«И когда мы произносим это простое и в то же время необъятное слово “Россия”, – говорит И.А. Ильин, – и чувствуем, что мы назвали что-то самое главное в нашей жизни и в нашей личной судьбе, то мы твердо зна-

ем, что мы разумеем не просто природу, или территорию, или быт, или хозяйство, или государство, но *русский дух*, выросший во всем этом, созданный этим, и создававший все это в муках, в долготерпении, в кровавой борьбе и в непрестанном молитвенном напряжении» [3. С. 207].

Россия – русский дух – слово, восходящее к Слову творящему; слово как форма существования духовности, живой организм, обусловленный и метафизической, и природной реальностью... У слова могут быть даже свои болезни: “Да, у слова свои болезни, и наиболее опасная в том, что слово, легкое как пух, случайно рожденное, ничем не сдерживаемое, ничем не связанное, ослепительное и забавное, обманчивое и ненадежное, бесчинствует среди людей. Такие слова пусты и мертвы; им несвойственно истинное значение; ни одно сердце они не заставят забиться; никакого действия они не вызовут; в целом – это духовный ублюдок, смутное призрачное существование. Религия, искусство, наука, политика – все выражается, когда смерч духовного разложения поднимает в огромном множестве такие слова” [4. С. 157–158]. Пустое, мертвое, *беспредметное* слово характеризует, по Ильину, модернизм во всех его проявлениях, включая символизм, футуризм, акмеизм, импрессионизм и прочие “измы”.

Говоря о слове, И.А. Ильин обычно имеет в виду его звучание (собственно формальные характеристики), интонацию (отношение к слову субъекта речи), ассоциативную окраску и логически-стилистические сцепления, т.е. контекст, в котором употребляется слово [2. С. 131]. Такой подход позволил Ильину-критику сделать немало ценных наблюдений над языком Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.А. Бунина, А.М. Ремизова, И.С. Шмелева, Д.С. Мережковского, других писателей и поэтов. Основной же закон языка представляется И.А. Ильину следующим образом: “достигнутая всенародными тысячелетними усилиями дифференцированность семемы – должна находить верное отображение в дифференциации фонемы, морфемы и граммы” [5. С. 208].

Очень важно, считал Ильин, чтобы “*пробуждение самосознания и личностной памяти* ребенка (обычно – на третьем, четвертом году жизни) совершилось на его родном языке. При этом важен не тот язык, на котором говорят при нем другие, но тот язык, на котором *обращаются к нему*, заставляя его *выражать* на нем его собственные внутренние состояния” [2. С. 202–203]. Как опытный педагог И.А. Ильин дает вполне конкретные рекомендации: не учить ребенка чужим языкам до тех пор, пока он не заговорит связно и бегло на своем родном языке. (То же самое относится и к чтению.) «В дальнейшем же в семье должен царить *культ родного языка*: все основные семейные события, праздники, большие обмены мнений должны протекать по-русски; всякие следы “волапука” должны изгоняться; очень важно частое чтение вслух Св. Писания, по возможности на церковнославянском языке, и русских классиков, по очереди всеми членами семьи хотя бы понемногу; очень важно ознаком-

ление с церковнославянским языком, в котором и ныне живет стихия прародительского славянства, хотя бы это ознакомление было сравнительно элементарным и только в чтении; существенны семейные беседы о *преимуществах* родного языка – о его богатстве, благозвучии, выразительности, творческой неисчерпаемости, точности и т.д.» [2. С. 203].

Что касается церковнославянского языка, то И.А. Ильин всегда уделял ему большое внимание. В работе “Сущность и своеобразие русской культуры” (1942) он так объясняет свою позицию: весь запас молитвенных слов звучит не на русском, а на *церковнославянском языке*, “на котором больше не говорят, но который является древнеславянским, или праславянским, и служит своего рода посредником между западнославянскими языками и русским языком” [6. С. 453].

В продолжение темы И.А. Ильин предлагает ряд существенных (и актуальных) аргументов: «С этим церковнославянским языком, – в частности, пишет он, – связано одно особое обстоятельство. В Западной Европе считают, что он недоступен и непонятен русскому народу и на Востоке оказывает такое же вредное влияние, как латинский язык на Западе. В действительности же дело обстоит совсем иначе. Церковнославянский язык фонетически, грамматически и семиотически так близок к русскому и благодаря вековой церковной практике и русским литературным начинаниям XIV – XVIII вв. настолько запечатлелся в народной душе, что сделался *par excellence языком религиозным*. Слышит русский этот язык – у него появляется ощущение, что он прислушивается к своему древнейшему прошлому, которое должно поведать ему нечто новое о конечных и священных вещах. Это язык древних русских летописей, древних подлинных государственных актов и законов, язык древней русской литературы. С тех далеких времен отдает церковнославянский язык свою словарную сокровищницу в распоряжение русского языка и тем самым обогащает его. Примечательно, что как в разговорном, так и в письменном русском языке все духовно содержательное, все вдохновенное, возвышенное и патетическое как-то неосознанно, само по себе требует своего выражения на церковнославянском и его непосредственного применения – и тут же все становится строгим и торжественным, чувствуется переход в состояние более высокого измерения, и душа начинает колебаться, тронутая далеким молитвенным звуком. Так, например, русское слово “глаз” в церковнославянском языке получает смысл духовный и обозначается как “око” или “зрак”. Стоит только сказать “око” вместо “глаз”, как все всем становится ясно <...>. То же самое можно сказать и о слове “жизнь”. Кто применительно к нему употребляет церковнославянское слово “житие”, тот хочет показать, что речь идет о религиозно насыщенной, в трудах и заботах проведенной, достойной, ниспосланной судьбою жизни.

Когда Гаврила Державин (1743–1816), величайший русский поэт, прдшественник Пушкина, написал свою великолепную оду под названи-

ем “Бог” на вдохновенно-высокопарном русско-церковнославянском языке, пробил час для литературного слияния двух языков. Начиная с Державина и Пушкина, это слияние как бы получило такую легитимность, что русской поэзией в ее размахе, пафосе, в ее духовном прозрении без церковнославянского способа выражения ни овладеть нельзя, ни правильно понять. Там, где русская поэзия уже не шутит, не балагурит, не принимает к сердцу прозу повседневности, она начинает, порою незаметно, втайне молиться, и не в смысле вымученного ханжества или знания содержимого молитвенника, а в смысле свободного созерцания божественного в сокрытой сущности мира и человека. И тотчас, словно ангел-хранитель русского языка, появляется дыхание церковнославянского. Из чего следует, что тонко чувствующему историку литературы религиозная основа русской культуры и литературы может очень многое прояснить» [6. С. 453–455].

И.А. Ильин и сам охотно пользовался “активами” церковнославянского языка. “Духовное око”, “духовный глас (глагол)”, “словесные ризы”... Эти и прочие метафоры подобного рода – одни из самых любимых и распространенных в его литературно-критическом и философском творчестве. И.А. Ильин вообще хорошо чувствовал стиль, слово и, будучи филологически одаренным человеком, пробовал себя в поэзии, прозе. Но, конечно, главное богатство – это его книги, статьи, лекции, речи, написанные прекрасным, образным русским языком.

Литература

1. *Ильин И.А.* Наши задачи: О русском правописании (1952) // Собр. соч.: в 10 т. М., 1993. Т. 2. Кн. 2.
2. *Ильин И.А.* Путь духовного обновления (1935) // Собр. соч.: в 10 т. М., 1993. Т. 1.
3. *Ильин И.А.* Россия в русской поэзии (1935) // Собр. соч.: в 10 т. М., 1996. Т. 6. Кн. 2.
4. *Ильин И.А.* Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий (1938) // Собр. соч.: в 10 т. М., 1994. Т. 3.
5. *И.А. Ильин – Н.П. Полторацкому: 27.III.1948 г.* // Собр. соч.: в 10 т. Письма. Мемуары (1939–1954). М., 1999.
6. *Ильин И.А.* Сущность и своеобразие русской культуры (1942) // Собр. соч.: в 10 т. М., 1996. Т. 6. Кн. 2.

Имена и фамилии в русской литературе**Карамазов, Смердяков и другие**

© С. А. СКУРИДИНА

Каждый читатель, хотя бы однажды столкнувшийся с творчеством Ф.М. Достоевского, не мог не обратить внимания на яркие фамилии и имена героев, на интересные названия тех мест, где они обитают. Легко запоминающиеся или труднопроизносимые, они производят один и тот же эффект – “впечатывают” в сознание читателя образ, понимание которого впоследствии только углубляется благодаря многочисленным приемам. Первое название – это, своего рода, “встреча по одежке”, знакомство с героем, с тем местом, в каком он живет.

Выдуманные Ф.М. Достоевским фамилии соотносятся между собой в тексте на семантическом уровне: *Карамазов, Смердяков, Верховцева, Светлова, Самсонов*... Все указанные антропонимы принадлежат героям последнего романа писателя “Братья Карамазовы”.

Фамилию *Карамазов* рассматривают традиционно как производное слово от прилагательного *карамазый*, в основе которого два корня: тюркский *кара-* – “черный” и русский *маз-* – “мазать”. В романе значение фамилии *Карамазов* раскрывается женой штабс-капитана Снегирева – она называет Алешу Черномазовым. Таким образом, *Карамазов/Черно-*

мазов, мазанный черным – помазанник дьявола (по аналогии с помазанником Божиим). Некоторые исследователи рассматривают компонент *кара* – как существительное *кара* (наказание), так как почти все члены семейства Карамазовых заслуживают наказание.

Традиционная семантика подтверждается значением фамилии побочного сына Федора Павловича, лакея Смердякова, которая происходит от греческого слова, обозначающего “делать черным, покрывать сажей, копотью”. Но это один из вариантов толкования фамилии.

Происхождение Смердякова нечисто, что настойчиво подчеркивается Ф.М. Достоевским. Смердяков был рожден в бане, которая для верующего человека мыслится местом обитания разной нечисти, границей, отделяющей мир живых от мира мертвых, поэтому неслучайно в бане не вешали икон, а идя туда, снимали крест, но обязательно оставляли пояс как вещь, необходимую в мире живом; вымывшись поганой водой, выйдя из бани, обязательно обливались водой чистой.

В бане, по славянским поверьям, обитал один из самых злых духов – банник, представлявший особую опасность для рожениц, так как в переломные моменты жизни – рождение, свадьба, смерть – человек становится особенно уязвимым для потустороннего мира: граница, разделяющая их, как бы размыкается. Попадая в иной мир, человек должен спросить на то согласия их обитателей, принести им жертвы или стать его частью добровольно (как, например, колдуны и ведьмы) или насильно (проклятые или обменыши). Обыкновенно подмена ребенка на чертеныша, полено, веник и прочие предметы осуществляется банником в момент отлучки матери. Бессознательное состояние Лизаветы Смердящей перед смертью и явилось тем моментом, когда ребенка заменили “бесовым сыном”, которого “покойничек прислал” (умерший сын слуг Федора Павловича Карамазова, Григория и Марфы, которого Григорий называл драконом по причине шестипалости и не разрешал крестить). Дракон, преследующий готовящуюся к рождению ребенка женщину, упоминался еще в Откровении Иоанна Богослова.

Образы Федора Павловича Карамазова и его четвертого сына Павла Федоровича Смердякова объединяет мотив подарка и его подмены, скрытый в их антропонимах. Имя и отчество лакея – рекомбинация имени и отчества его предполагаемого отца. Глава семейства, *мазанного черным*, носит имя *Федор* – от греческого *Теодорос*: *теос* “Бог” + *дорон* “дар”. Но известного кутилу, развратника и насильника вряд ли можно было бы назвать божьим даром. Если рассматривать его антропоним как двучастный (имя + отчество), то можно к значению имени *Федор* прибавить семантику имени *Павел* – из латинского *Паулус* “малый”. Следовательно, *Федор Павлович* – малый божий дар, перемазанный, перепачканный черным, дьявольским, но, тем не менее, божий. Значит, не кто-то, а сам Бог пожелал, чтобы этот человек жил. И это ответ на вопрос Дмитрия – “зачем живет такой человек?”

Но можно сочетание *малый Божий дар* истолковать как *подарочек* в переносном значении этого слова. Не случайно черт говорит Ивану: “Но ведь ты поросенок, как Федор Павлович”. У В.И. Даля “поросенок, нечистотный, грязный человек”. Получается, что кто-то подменил Божий дар, подложил свинью, что можно рассмотреть как в переносном смысле – устроил неприятность, так и в буквальном, ведь неслучайно в тексте романа Федора Павловича называют свиньей, имея в виду его ненасытность и похоть, да и сам он, обращаясь к детям, однозначно относит себя к этим нечистым животным: “Эх вы, ребята! Деточки, поросяточки вы мои маленькие...”

Подобная подмена произошла и при рождении Смердякова. Отличает отца и сына только разное отношение к женщинам: если Федор Павлович – сластолюбец, то Павел Федорович совершенно не интересуется женщинами.

Бесчестное происхождение Смердякова отражено в его фамилии, производной от существительного *смерд* – “человек из черни, подлый (родом), мужик, особый разряд или сословие рабов, холопов, позже крепостной”. Кроме того, фамилия лакея унаследовала от прозвища Лизаветы Смердящей связь с запахом: *смердеть* – “вонять, испускать смрад, зловоние, отвратительный, вонючий запах”. Интересно, что Смердяков осваивал в Москве поварское искусство, а приготовление пищи сопровождается запахом. Но запах, исходящий от Смердякова, – это зловоние, о чем иносказательно говорит Ракиitin Алеше: “...старик действительно прозорлив: уголовщину пронюхал. Смердит у вас”.

Имена законнорожденных детей Федора Павловича Карамазова в сочетании с фамилией и отчеством по-разному раскрывают идейное содержание романа.

Имя старшего сына – *Дмитрий* – единственное в семье, не связанное с христианским богом. *Дмитрий* от греческого *Деметриос* “относящийся к Деметре – богине земледелия и плодородия”. По одному из мифов она стала нянькой Триптолема (вариант: Демофонта), подарила ему колос пшеницы, научила возделывать землю и велела обучить этому людей. Эпиграф к роману, взятый из Евангелия от Иоанна, упоминает тоже пшеницу и землю: “Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода”. Имя старшего сына Федора Павловича, связанное с землей, несет двоякий смысл: с одной стороны, невозделанная земля – это хаос, с другой стороны, земля – это та сила, которая порождает жизнь, а значит, существует надежда на преодоление хаоса, на обретение гармонии, поэтому Митя говорит Грушеньке: “...мы пойдем с тобою лучше землю пахать. Я землю вот этими руками скрести хочу. Трудиться надо, слышишь? Алеша приказал”.

Но нельзя забывать отчество героя. *Дмитрий Федорович* – имя и отчество может быть прочтено как “божий дар земли”. Если так, то это

еще одно доказательство соотнесенности эпитафия с антропонимом *Дмитрий Федорович Карамазов*.

Внимательное чтение романа позволяет увидеть между Митей и его возлюбленной связь на именном уровне. Фамилия Грушеньки (Светлова) излучает свет, который может преобразить, очистить “мазанного черным” Дмитрия. И только его одного, ведь он – плод земли, а земля способна приносить плоды только согретая светом, солнцем. С эпитетом *светлый* связан и праздник Пасхи – светлый праздник воскресения Христового. В романе Митя говорит своей любимой: “Груша, жизнь моя. Святенья моя”. Существует примета, возможно, известная Ф.М. Достоевскому – *Коли Дмитриев день по снегу, то и святая по снегу – а Дмитриев день по голу, и святая по тому*. С очищением связана не только фамилия, но и имя возлюбленной Дмитрия: 6 июля (23 июня по старому стилю) православная церковь отмечает праздник Аграфены-Купальницы, начало терпения. На Аграфену обязательно мылись и парились в банях, употребляя при этом для исцеления от болезней разные лечебные травы. Итак, именно Грушенька, не отличающаяся чистотой своего поведения, должна была исцелить Дмитрия.

Единственный из всего семейства Карамазовых средний сын носит имя, этимологически восходящее к древнееврейскому языку. Отделяет его в романе от себя и своих детей и сам Федор Павлович.

Дмитрий считает Ивана “могилой”, Алексей – “загадкой”. Потом Митя, как бы подтверждая мнение Алеши, назовет Ивана “сфинксом”. Сфинкс, как известно, – олицетворение загадочности. Итак, имя *Иван*, считающееся “самым русским”, носит человек не с русской – распахнутой, а с загадочной, неизвестного происхождения, душой.

“Второй брат в предварительных набросках именуется Иваном Федоровичем, Ученым или Убийцей. Последнее его прозвище знаменательно. Не исключено, что на этой стадии работы над романом Достоевский предполагал, что именно Иван убьет Федора Павловича, как это было в тобольской истории”. Иван – убийца, но его-то “Бог милует”, обрушивая свою кару на Дмитрия. Но и Иван наказан. И не только тем, что он сходит с ума, но и тем, что Катерина Ивановна никогда не будет с ним: *Катерина* – “вечно чистая” – никогда не соединится с Убийцей.

В тексте романа раскрывается смысл фамилии Катерины Ивановны: Алеша “чувствовал каким-то инстинктом, что такому характеру, как Катерина Ивановна, надо было властвовать, а властвовать она могла бы лишь над таким, как Дмитрий, и отнюдь не над таким, как Иван”. Алешино заключение подтверждает и сама Катерина Ивановна: “Пусть стыдится и всех и себя самого, но пусть меня не стыдится. Ведь Богу он говорит все же, не стыдясь”. Итак, Катерина Ивановна приравнивает себя к Богу. Олицетворение Катерины Ивановны с Богом в первоначальном замысле должно было отразиться в ее фамилии: в Рукописных редакциях она называется *Вершонской*. Впоследствии Ф.М. Достоевский заменил эту

фамилию той, которую мы видим в окончательном тексте романа и которую, возможно, писатель слышал от своей жены (у Анны Григорьевны была родственница *Верховцева*).

Имя младшего сына Федора Павловича заимствовано из греческого – *Алексиос*: *алексо* “защищать, отражать, предотвращать”, что и пытается делать Алеша. Его имя неслучайно связано с именем излюбленного житийного персонажа *Алексея человека Божьего*.

Имя *Алексей* следует рассматривать, подобно именам других братьев, во взаимообусловленности с именем нареченной героя, *Lise*. В одном из вариантов Жития Алексея человека Божьего его невеста носит имя *Лизавета*: “Дозволил ему батюшка жениться / Как на славную на обрушную княгини, / А по имени ее Лизавета” (Калики переходящие. Сборник стихов и исследование П. Бессонова. М., 1861).

Глава, посвященная *Lise Хохлаковой*, называется “Бесенок”, основа ее фамилии созвучна нарицательному существительному *хохлик* – в значении “черт, дьявол или нечистый”, поэтому у нее, как и у ее матери, болезнь особенная – болезнь ног (мотив физической неполноценности восходит к образу черта). Но, по словам Ивана, “в сердечке” Алеша тоже сидит бесенок, ведь он сын кликуши и сладострастника.

Каждый художник стремится создать такое имя, которое раскроется читателю через ассоциации, поэтому некоторые имена в романе соотносятся на фольклорном уровне, например, имена *Груши* и *Мити*, другие соотносятся с именами героев из иных произведений литературы, третьи раскрывают свою внутреннюю форму в контексте романа через обмолвки или недомолвки писателя. Во многих случаях имя является своего рода ключом к пониманию созданного образа, а порой и произведения в целом.

Воронеж

Имена и фамилии в русской литературе**Туберозов, Десницын, Бенефактов**

© В. В. ВЯЗОВСКАЯ

В романе Н.С. Лескова “Соборяне” три главных героя – это *Савелий Туберозов*, *Ахилла Десницын* и *Захария Бенефактов*. Все они – священнослужители.

О прототипе главного героя романа Савелия Ефимыча Туберозова Н.С. Лесков в “Автобиографической заметке” писал: «Из рассказов тетки я почерпнул первые идеи для написанного мною романа “Соборяне”, где в лице протоиерея Савелия Туберозова старался изобразить моего деда, который, однако, на самом деле был гораздо проще Савелия, но наименовал его по характеру» [1. Т. XI].

Известно, что фамилия *Туберозов* семинарского происхождения: *Туберозов* от *тубероза* – “розовый куст” [2. Т. IV]. В русской народной ономастике фамилии от названий цветов очень редки а, по замечанию П.М. Бицилли, все они “семинарского происхождения” [3. С. 632]. Возможно, что название этого цветка Лесков мог встретить в Орловских губернских ведомостях за 1845 год, так как в это время вышла статья, посвященная популярному тогда “языку цветов”, в которой упоминается *тубероза*.

Заметим, что “цветочность” формирует ономастический фон главного героя. Так, ученица Туберозова носит фамилию *Серболова*, которая образована от *сербалина* – “дикая роза, шиповник” [2. Т. IV]. Если учесть то, что *тубероза* (*Polianthes tuberosa* – “розовый куст”), то можно отметить связь между двумя персонажами: *протопоп/духовный* отец (Тубе-

розов) – ученица/духовная дочь (Серболова) и отсюда соответствие и на уровне антропонимов: *Туберозов (тубероза – розовый куст) – Серболова (сербалина дикая роза)*. Очевидно, что этот антропоним второстепенного персонажа участвует в реализации семантико-ономастического фона главного героя.

Еще одно соответствие находит свое воплощение в тексте. Туберозов называет свою жену “моя лилейная и левкойная подруга, моя роза белая, непорочная, благоуханная и добрая...” [1. Т. IV. С. 39]. Здесь налицо метафорическое “родство” лилии и розы в рамках символики художественного мира (муж и жена). Если же взять во внимание близость амариллисовых (тубероза) и лилейных (лилия), можно вывести равенство: *тубероза – лилия/протопоп – попадья*. Неслучайным оказывается и употребление эпитетов *белый и благоуханный*, так как тубероза имеет белые, душистые цветки. Существенным является и то, что роза вместе с лилией представляется как лучшее украшение садов и как образ полной жизненной красоты. Таким образом, происходит своеобразное “совмещение” сфер двух персонажей – Туберозова и его жены.

Важным в этой линии рассуждения является и замечание учителя Варнавы по поводу Туберозова, метафорически представляя его как “растение”, которое действительно можно “срезать” или “обрезать”: “Туберозов никогда не любил меня, но теперь он меня за естественные науки просто ненавидит, потому что я его *срезал*” [1. Т. VI. С. 103]. В данном контексте имеется в виду *срезать словом*: “резко ответить, нечаянно сильно смутить”, но использование этого глагола (*срезывать* – “отрезать сверху”) также уточняет и семантику фамилии героя, если рассматривать ее как производную от *тубероза* (растение).

Этимология фамилии дьякона Ахиллы Андреича *Десницына* также нужно искать среди церковной терминологии: *Десницын* от *десница* (правая рука). Имя же дьякона соотносится с именем героя древнегреческого эпоса – *Ахиллесом*. Протопоп так же подчеркивает эту “преемственность”, называя *Ахиллу Ахиллесом*: “не всегда осуждаю живые склонности моего любезного *Ахиллеса*” [1. Т. VI. С. 69] и он вторит ему: “Я и сам почти воин” [1. Т. VI. С. 22]. И, действительно, здесь переплетаются две линии – высокая, героическая, и пародийная, отталкиваются одна от другой на протяжении всего романа. Дьякон Ахилла то “всерьез” уподобляется античному воину, богатырю, то он же открыто пародирует своим поведением историю Троянской войны.

Однако между лесковским дьяконом Ахиллой и героем гомеровской “Илиады” Ахиллесом существовал еще один “тезка”, возможно, именно в его честь и было дано имя будущему дьякону. Для такого знатока церковной службы и истории, как Лесков, немаловажным явилось то обстоятельство, что прообразом его героя был дьякон Киево-Печерского монастыря. О жизни этого церковного подвижника XIV века почти ничего не известно – лишь то, что он был “затворником”, “постником” и “служи-

телем жертвы". Все эти черты могут быть соотнесены с образом лесковского дьякона только отрицательно, хотя более определенных данных для предположения о намеренном пародировании у нас нет. Ф.Г. Де-ла Барт в своих воспоминаниях о Лескове писал, что на вопрос: «списан ли с натуры чисто эпический дьякон Ахилла, получил ответ: "Дьякон *Ахилла*, – воскликнул Лесков, – да он, поди, и теперь еще жив. Это мой знакомый дьякон-богатырь. Огромного роста, с курчавыми волосами и бельмом на глазу, он посейчас является грозой обывателей и городских, когда выпьет лишнее"» [4. С. 140].

В воспоминаниях Н.С. Лескова относительно прототипа дьякона фигурирует имя *Антоний*: «А разве Киево-Печерской лавры знаменитый дьякон *Антоний*, "переложив" меру вина накануне какого-то торжественного служения, не грохнул что-то несурзкое, вроде "анафемы" вместо "многая лета", да и с повторением. Я с него взял для *Ахиллы* и даже смягчил случай» [5. С. 109]. *Антониус* – от греческого *антео* "вступать в бой, состязаться" [6]. Значение имени *Антониус* в семантическом плане оказывается близким как к гомеровскому Ахиллесу – древнегреческому богатырю, так и к лесковскому Ахилле. Важен здесь также комплекс, который образуют имя и отчество героя: *Ахилла Андреич* – *Ахилла* от *Ахиллес*, *Андреич* от *Андрей* – от греческого *Андреас* – *андрейос* – мужественный [6]. Очевидно, что отчество "поддерживает" и "усиливает" в семантическом плане имя персонажа.

Одно из "определений" *Ахиллы* – "уязвленный". Мотив уязвленности напрямую соотносится и с самим античным героем и его историей. Как известно, имени *Ахиллес* сопутствует выражение *ахиллесова* (или *ахиллова*) *пятка*. Но если в мифе фигурирует *пятка*, то в романе обыгрывается *щиколотка*, из-за которой и возникает спор между дьяконом и лекарем. Из-за незнания латинского названия щиколотки – *astragelus*, дьякон оказывается обиженным и в свою очередь "уязвленным": «Незнакомое слово "астратегелюс" произвело на дьякона необычайное впечатление: ему почудилось что-то чрезвычайно обидное в этом латинском названии щиколотки» [1. Т. VI. С. 93]. На протяжении всего романа дьякон Ахилла попадает в пародийные пограничные ситуации, опасные для его жизни. Любопытно, что если в мифе мать Ахиллеса всячески оберегает своего сына от преждевременной смерти, то в романе эту "миссию" на себя берут Туберозов, Бенефактов и другие жители Старгорода, которые "берут" своего Ахиллу, но только от его "непомерной увлекательности", которая и является уязвимым местом дьякона.

И, наконец, Захария Бенефактов. Это персонаж носит характерное имя для священнослужителя – *Захария* от древнееврейского *закарья* "Бог вспомнил" и фамилию – *Бенефактов* от латинского *bene* "хорошо" + *factum* "сделанный" (совершающий добро). Фамилия содержит латинскую основу, характеризующую нрав или поведение человека. Первоначальный вариант фамилии *Бенефактова* – *Бенефисов*. Эта фамилия так-

же образована по типичной модели так называемых семинарских фамилий: *Бенефисов* от латинского *beneficium* “благоденствие”. Но очевидно, что первоначальный вариант был изменен из-за возможности возникновения ассоциаций, связанных с театральным термином, и в свою очередь светским миром, – *бенефис* или *бенефициант*, что не могло никак соответствовать представителю духовенства.

Рассмотренные фамилии главных героев романа Н.С. Лескова “Соборяне” убедительно показывают, что они не только характерны для духовенства как определенного социального класса общества, но и гармонично взаимодействуют со всеми именами персонажей этого романа.

Литература

1. Лесков Н.С. Собр. соч. В 11 т. М., 1957.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979.
3. Бицилли П.М. Избранные труды по филологии. М., 1996.
4. Плещинов Н.С. Романы Лескова “Некуда” и “Соборяне”. Баку, 1963.
5. Чуднова Л.Г. Лесков в Петербурге. Л., 1975.
6. Суперанская А.В. Словарь русских личных имен. М., 2003.

Воронеж





АНТРОПОНИМ В ПОСЛОВИЦЕ: ПАРАДОКСЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ

© О. Е. ФРОЛОВА,
кандидат филологических наук

Пословица выражает обобщенный смысл и поэтому используется в разных ситуациях. Исходя из этой логики, в пословице не должны встречаться имена собственные, называющие конкретных людей. Если попытаться определить, есть ли в пословице антропонимы, и проследить, какова их роль, становится ясно, что наши ожидания не оправдываются. Хотя Г.Л. Пермяков в свой паремиологический минимум [1] включил только одну пословицу с именем собственным (*Если Гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе*). Но достаточно пролистать сборник пословиц В.И. Даля [2] и Павла Симони [3], чтобы убедиться, что антропонимов в пословицах много. В сборнике Даля их более 650. Необходимо сделать важную оговорку: анализируя сборник Даля, мы отбирали только те пословицы с антропонимами, которые понятны современному читателю и не требуют комментариев.

В пословицах встречаются два типа антропонимов: невоплощенные и воплощенные имена (в терминологии А. Гардинера [4]). Невоплощенные антропонимы называют людей, которые носят именно такие имена. В противоположность этому, воплощенные, или, в более поздней терминологии прецедентные, антропонимы называют людей известных и способны занимать в предложении позицию предиката.

Прецедентные антропонимы, называющие, главным образом, Иисуса и святых, появляются в пословицах довольно часто: *Никола на море спасает, Никола мужику воз подымает; Иуда лижет блюда; На поле Никола общий бог; Бог не убог, а Никола милостив.*

В отличие от них, в примерах *Проси Николу, а он Спасу скажет; Прости Христа ради за прошлое, да и напередки тож* предикат выражен повелительной формой глагола, а имя собственное в дательном падеже называет адресата, к которому обращена просьба.

В пословицах *Лучше брани: Никола с нами; Нет за нас поборника супротив Николы* появляется личное местоимение (*с нами, за нас*), объединяющее говорящего и адресата.

Пословицы *Не для Иисуса, а ради хлеба куса; С белянкой котомкой – Христос по пути* могут быть интерпретированы как неполные предложения.

В приведенных речениях прецедентные имена собственные занимают позиции участника ситуации или субъекта. Мы различаем эти роли. Особенность данных пословиц также и в том, что антропонимы в них референтны, т.е. говорящий имеет в виду конкретных, по-видимому, знакомых ему людей, носящих эти имена.

В пословицах, представляющих собой сложные и простые предложения с несколькими однородными сказуемыми, прецедентный антропоним также называет конкретный объект. В таких речениях воплощенное имя выступает как прецедент, то есть люди должны следовать примеру, данному Иисусом: *Христос терпел и нам велел*.

Часть прецедентных имен занимает позицию предиката, они нереперентны и не соотносятся с какими-либо экстралингвистическими объектами.

В примере *По бороде – Авраам, а по делам – хам* антропонимы *Авраам* и *Хам* являются именными сказуемыми. В примере *Богат, как Крез, а живет, как пес* антропоним *Крез* включен в сравнительный оборот и выступает как семантический предикат.

Нами обнаружен один прецедентный антропоним в позиции обращения. Согласно словарю Даля, Предтеча – “личное название Предтечи дано церкви Иоанну Крестителю” [5]. В примере *Батюшка Предтеча, я из Субботников, Павлова сноха, Иванова жена, помилуй ты меня* в позиции обращения нарицательное существительное выступает вместе с антропонимом.

Некоторые примеры требуют более тонкой интерпретации. В них антропоним занимает позицию субъекта при предикате, выраженном формой глагольного императива. Пословицы *Оставил воз на дороге, да Никола береги! Кинул кафтан на дороге – святой Никола береги!* могут быть интерпретированы двояким образом, т.к. не вполне ясно, имеется в виду прецедентное или непрецедентное имя. Если первое, то особенность позиции в том, что антропоним употреблен в словосочетании с притяжательным местоимением *наш*, которое объединяет говорящего и адресата: *Наш Иуда не как люди; Наш Иуда ест и без блюда*.

Позиции прецедентного имени в пословице следующие: субъект, не сопровождаемый определением; несубъектный участник ситуации без определения; субъект с определением, выраженным притяжательным местоимением; предикат. В трех первых позициях антропоним референтен и называет конкретного носителя имени.

Казалось бы, употребление непрецедентных имен должно обнаружить те же позиции, которые мы нашли, анализируя поведение прецедентных антропонимов. Действительно, ряд позиций совпадает. Хотя трудно представить себе такой антропоним в позиции предиката.

Перечислим выделенные позиции с примерами.

Непрецедентный антропоним – субъект без определения: *Навари-ла, напекла Акулина про Петра; Не ждет Мартын чужих полтин; Стоит Мартын за свой алтын; Доселе Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал; Анна таланна; Анна затычка банна; Добр Мартын, коли есть алтын; Худ Роман, коли пуст карман; Тарас есть пряники горазд, а Филат бы и каше рад; Живет Ермошка (или Игошка): есть собака да кошка; Когда у Ивашки белая рубашка, тогда у Ивашки и праздник.*

Приведенные пословицы объединяет одно качество. Антропоним не сопровождается именем нарицательным, т.е., судя по речениям, адресату должен быть знаком носитель имени. Следовательно, такие употребления непрецедентных имен собственных референтны и относятся к конкретным людям.

Невоплощенный антропоним – участник ситуации, в косвенном падеже, не сопровождаемый определением: *Алтын Мартыну – ни сапог подишить, ни скоба подковать.*

В примере *Пришли на Настю беды да напасти* антропоним выступает в винительном падеже с предложением *на*. На самом деле именно *Настя* претерпевает все неудачи. Пословица *Взяло Фоку зади и сбоку* является безличным предложением. Примеры *Прознали Варвару из чужого амбара; Пошел было по хлеб к Варваре, да нашел у себя в анбаре* – неопределенно-личное и неполное предложения с невыраженными субъектами.

Прецедентные имена не нуждаются в комментариях с помощью нарицательных существительных; пословиц, в которых обозначен статус человека, названный непрецедентными именами, крайне мало. Их количество существенно уступает корпусу пословиц, из которых не ясен статус носителей имен.

В субъектную именную группу входят нарицательное существительное и непрецедентный антропоним: *Швец Данило что ни шьет, то гнило; Игумен Гурий – до братьев дурен*. Показательно, что для данных пословиц статус носителя имени особенно важен, поэтому нарицательные имена нельзя опустить, так как портной должен, по определению, уметь хорошо шить, а игумен – вести аскетический образ жизни.

Создается впечатление, что адресату должны быть знакомы все люди, названные в пословицах с помощью антропонимов. Иначе как объяснить отсутствие нарицательных существительных? Вместо прямого названия, профессионального, семейного, возрастного статуса человека, пословица предоставляет многочисленные определения носителей имени, которые можно интерпретировать так: адресат должен знать, что с тем или иным человеком произошло что-то такое, что позволяет его называть *бедным, добрым, глупым*.

Различия между употреблением прецедентных и непрецедентных имен наблюдаются при анализе группы пословиц с непрецедентными ан-

тропонимами, сопровождаемыми определениями; они демонстрируют значительно большее разнообразие, чем мы могли наблюдать раньше.

Непрецедентный антропоним-субъект с определением, выраженным прилагательным: *Добрый Демид на худых не глядит; Голодному Федоту и щи в охоту.*

Непрецедентный антропоним – участник ситуации с определением, выраженным прилагательным: *На бедного Макара и шишки валяются; Смиренного Артемья от Бога оттерли; Глупому Авдею наколотили шею; Горькому Кузеньке жалкая и песенка (горькая и долюшка).*

Непрецедентный антропоним-субъект с определением, выраженным притяжательным местоимением: *Наш Фаддей – ни на себя, ни на людей; Наш Филат не бывает виноват; Наш Кузьма все бьет со зла (или: бьет с козла); Наша Татьяна и не евши пьяна; Наш Тарас не хуже вас.*

Непрецедентный антропоним – участник ситуации с определением, выраженным притяжательным местоимением: *Нашему Ивану нигде нет талану; Нашего Мины не проймешь и в три дубины; У нашего Трошки задрожали ножки.*

Мы обнаружили пятьдесят пословиц с именной группой, включающей притяжательное местоимение *наш*. Они дают парадоксальную картину употребления непрецедентных антропонимов в пословицах. Это некий круг людей, которые должны быть известны говорящему и адресату. Например, форма имени *Трошка* свидетельствует о том, что говорящему он не только знаком, но они находятся в неформальных, приятельских отношениях. А пословицы с притяжательными местоимениями *наш, наши* объединяют говорящего и адресата. В таком случае последний тоже должен быть включен в этот круг *Филатов, Мин, Иванов*.

Антропоним с определением, выраженным указательным местоимением: *Этого Кузьму я и сам возьму.*

Перечисленные примеры создают впечатление знакомых друг другу людей, в круг которых входят говорящий, адресат и “персонажи” пословицы.

Однако картина оказывается сложнее. Говорящий строит обобщения, упоминая о конкретных людях. В этом случае он включает в именную группу с антропонимом определительное местоимение *всякий*. В обыденной речи такое словосочетание приобретает отрицательные коннотации. В пословице этого не происходит.

Непрецедентный антропоним-субъект с определением, выраженным определительным местоимением: *Всяк Аксен про себя умен (смышлен); У всякого Павла своя правда; У Всякого Федорки свои отговорки; Не всякому Савелью веселое похмелье.*

Непрецедентный антропоним – участник ситуации с определением, выраженным определительным местоимением: *На всякого Егорку есть поговорка.*

Количество пословиц с именной группой *у + род. пад.* (всякий + антропоним) значительно больше, чем число речений с антропонимом-подлежащим. Можно сказать, что обобщение ситуативно, т.е. строится на том, что случилось с *Аксеном, Егоркой, Савельем, Федоркой*. Формы имени *Егорка* и *Федорка* свидетельствуют о том, что говорящий хорошо знает этих людей.

Непрецедентное имя во множественном числе: *У него то Саввы, то Варвары* (у охотника попить); *У него сегодня Саввы, а завтра Варвары*. Употребление антропонима во множественном числе свидетельствует о формировании класса однородных объектов. Как правило, такое употребление свойственно прецедентным именам, вспомним пушкинское: *Мы все глядим в Наполеоны*.

Особенно интересны употребления непрецедентного антропонима в позиции обращения, так как в этом случае адресат должен соотносить себя с адресатом, названным другим именем: *Ври (мели), Емеля, – твоя неделя! Улита, знать, ты не бита?*

Непрецедентный антропоним – участник ситуации в пословицах, в которых говорящий выступает в 1 л. ед. ч.: *Был у меня муж Иван – не приведи бог и вам; Варвара мне – тетка, а правда – сестра; У меня лакеи все были Мокеи; а ныне Мокею самому пришлось в лакеи*.

Говорящий в 1 л. ед. ч. – довольно редкое явление для пословицы. Тем не менее, примеры подтверждают наличие того узкого, но тесно заселенного круга людей, к которому принадлежит и говорящий, так как субъект речи находится внутри ситуации. Особенно интересен пример *Зовут меня Фомой, а живу я собой*, являющийся своеобразным самопредставлением говорящего.

Невоплощенный антропоним – предикат: *Речист, как наш Феклист; Наряжается, что Маланья на свадьбу*. В этих примерах говорящий сравнивает людей со своими знакомыми, антропонимы включены в сравнительные обороты и выступают здесь как семантические предикаты. Показательно притяжательное местоимение *наш*.

Пример пословицы, в которой нет нарицательных существительных: *Ваша-то Катерина да нашей Орине двоюродная Прасковья* вновь с особой ясностью очерчивает тот круг, в который включаются говорящий и адресат. В этой связи можно вспомнить понятие личной сферы говорящего, предложенное Ю.Д. Апресяном [6].

Употребление непрецедентных антропонимов разнообразно, они служат сближению говорящего и адресата пословицы, создавая тесный круг близких людей, являются инструментом генерализации и выступают в качестве предиката.

В пословице, на наш взгляд, нет непреодолимой границы между прецедентными и непрецедентными именами: они находятся в тех же позициях, но лишь непрецедентный антропоним может массово употребляться с местоимением *наш* и объединять адресата и говорящего.

Парадоксальность употребления антропонимов в пословице в том, что, в отличие от нарицательных существительных, имена собственные обращены к конкретным людям. Ведь, употребляя в речи пословицы *Всяк кулик свое болото хвалит*, *Куда иголка, туда и нитка*, *Куй железо, пока горячо*, мы не имеем в виду ни конкретных птиц, ни предметов, ни веществ. Разумеется, пословица антропоцентрична, но имена собственные свидетельствуют о том, что она может быть и конкретной, давая человеку чувство своего круга, населенного знакомыми людьми.

Литература

1. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. М.: Наука, 1988. С. 154–162.
2. Даль В.И. Пословицы русского народа. В 2 т. М., 1984.
3. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII–XIX столетий. Собрал и приготовил к печати Павел Симони. I–II. СПб., 1899 // Сб. Отд. Русского языка и словесности Имп. АН. СПб., 1900. Т. 66.
4. Gardiner A. The theory of proper names. London, 1940.
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978–1980. Т. III.
6. Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Апресян Ю.Д. Избранные труды. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995. Т. II. С. 629–650.

ТАРАБАРСКАЯ ГРАМОТА

© М. Н. ПРИЁМЫШЕВА,
кандидат филологических наук

Фразеологизм *тарабарская грамота* “что-л. бессмысленное, непонятное (печатные сочинения, чьи-л. выступления, речи и т.п.)” [1] сейчас широко известен. В этом же значении в современном русском языке употребляются сочетания *тарабарское письмо, тарабарское наречие, тарабарский язык, слово тарабарщина*.

Тарабарская грамота уже в XVIII веке употребляется в переносном смысле как “нечто непонятное, неразборчивое (о письменном тексте)”. Так характеризует очередной приведенный пример В. Тредиаковский в своей книге “Разговор об орфографии”: “Что за тарабарская подлинно грамота? Как можно удержаться от смеха?” или “Многим другим неизвестно было, что такое экономическое общество, и могла книжка сия показаться тарабарскою грамотою” (Болотов. Записки) [2].

В Словаре Академии Российской 1794 года мы находим: “**Тарабарский...** Прилагательное, употребляемое в просторечии для означения письма и нелепых слов или весьма связного почерка скорописи. У него самой тарабарский почерк, невдруг разберешь. Это для меня тарабарская грамота” [3].

Аналогично отражается семантика этого слова и в Словаре церковнославянского и русского языка 1847 года: “написанный связно, неразборчивый. *Тарабарский почерк. Тарабарская грамота*”. [4]. В этот же период слово употребляется и в расширительном значении: “неизвестный, непонятный” (о чем-либо, а не только о письменном тексте): “И как над числами я ни корпел со скукой, / они остались мне тарабарской наукой” (Кн. Вяземский. Литературная исповедь. 1854) [5].

Чуть позже, по обнаруженным фиксациям – к середине XIX века – и сам фразеологизм *тарабарская грамота* расширяет свое значение, употребляясь как “непонятное, неясное, неизвестное (о чем-либо)”: “...Покупать именья, продавать их – все это для меня, постоянного городского жителя, тарабарская грамота!” (Григорович. Проселочные дороги) или “Фрески Микель-Анджело в Сикстинской капелле тоже перестали быть для меня тарабарской грамотой” (Чайковский. Письмо А.И. Чайковскому 31 декабря 1879 г. / 12 января 1880) [5].

Наиболее вероятно, что корень слова *тарабарский* соотносится с санскритским *tāra* “громко звучащий” [6. С.17]. Вероятность данной этимологической гипотезы подтверждается его регулярными семантиче-

скими реализациями в однокоренных словах с общим значением “говорить, говорить много, болтать”, например: *taribari* (н. прованс), *tiribara* (милан.) [3]; *тръ-тръ* (ст. сл.), *tratoriti* (чеш.) [7]; *тарабарить, таракать, тарантить, тарарусить, тарарыкать, тараторить, талабонить, талалакать, тарактеть, талабанить; тарарахнуть* “грохнуть, шаракнуть” (обл. русск.) [6, 8].

Указание из словарной статьи САР, что слово “просторечное”, позволяет предполагать, что данная этимология наиболее вероятна, так как в этом случае ее подтверждает генетическая и семантическая связь однокоренных слов. Не нашло, однако, поддержки в дальнейшей этимологической традиции предположение И. Срезневского: “...слова *taraber, talebar* ... означали все то, что может прикрывать, скрывать того, кто им пользуется: *taraber – tabardum* значило долгую мантию, совершенно скрывающую того, кто ее держит...” [9].

Вероятно, на основе значения “болтать, говорить много, быстро” у слова *тарабарский* формируется значение “непонятный, неясный (об устной речи)”. И по данным словарей и картотек становится очевидным, что уже в XVIII веке (а возможно, и ранее) доминирующая сема “непонятности” переносится и на письменные тексты, на “связное письмо” (скоропись). И это значение, вероятно, фиксируется в САР.

Однако именно в XIX веке отмечается, хотя, очевидно, существовало и ранее, особое, терминологическое, значение этого словосочетания: “*тарабарская грамота*, цифрованная, шифрованная, на которую нужен особый ключ” [8]. Аналогичное значение выражения, с пометой *иноск.*, приводит М. Михельсон: “Тарабарская грамота – неразборчивая, шифрованная, без особого ключа непонятная” [10].

Наличие этого значения, при отсутствии точной его первой датировки употребления, позволяет предполагать с равной степенью достоверности как первичность фразеологического значения по отношению к терминологическому, так и терминологического по отношению к фразеологическому.

Но, так или иначе, только источники XIX века позволяют нам узнать, что же представляла собой “тарабарская грамота” как “цифрованное, шифрованное” письмо, как вид русской тайнописи... [16].

В романе П.И. Мельникова-Печерского “В лесах” настоятельница раскольникового скита Манефа получает письмо из Петербурга, в котором после обычного текста следует фрагмент: “...Велено по самой скорости шо шле лтики послать, чтоб их ониласи и шель памоц разобрать и которы но мешифии не приписаны, тех бы шоп шылсак...”. К данной фразе дается примечание автора: «Это так называемая “тарабарская грамота”, бывшая в употреблении еще в XVII веке и ранее. Некогда она служила дипломатической шифровкой, теперь употребляется только старообрядцами в их тайной переписке. <...> употребляют б вместо ш и ш вместо б и т.д. По этой тайнописи в письме к Манефе было написано:

“Велено по самой скорости во все скиты послать, чтобы их описать и весь народ разобрать, и которы по ревизии не приписаны, тех бы вон выслать”» и далее: “За письмом к Дрябину долго просидела Фленушка... Все сплошь было писано тарабарской грамотой...”.

В анонимной статье “Раскольническая переписка” (1866) отмечается: “Обыкновенная переписка раскольников ничем почти не отличается от переписки наших необразованных людей и совершенно доступна пониманию всякого из нас. Совсем иное дело – раскольнические известия и целые письма секретные, таинственные, потаенные, не подлежащие общей гласности, касающиеся дел собственно раскола. Для сообщения таких известий в обыкновенных письмах, равно как и для написания целых писем с такими известиями, раскольники употребляют большею частью особый язык, понятный вполне только тем, к кому пишется. Язык этот, сколько известно, трех родов: тарабарский или шифрованный, иносказательный и офенский” [11].

Автор статьи привел тот же шифровальный код и образцы такого письма. Например, «“ры лощмасиль люоца Щоча мащи цся лналепия чувлшоиж, томрирля ок нороби сципошемпыж щсачокшомикесей, тундеш ролтошлтиж” мы собрались сюда Бога ради для спасения душ своих, кормимся от помощи единовверных благотворителей, купцев московских» [11].

Также автор статьи заметил, что “в письмах раскольнических, писанных обыкновенным русским или офенским... языком, собственные имена, особенно важные в отношении к расколу, пишутся нередко по-тарабарски. По-тарабарски же делаются иногда раскольниками подписи в рукописях их” [11].

Таким образом, *тарабарская грамота* – это не просто непонятное, шифрованное письмо, это особый тип русской тайнописи и, что самое важное, известное на Руси достаточно давно.

В истории русской тайнописи *тарабарская грамота* представляла собой самостоятельную систему, которая была наиболее распространена из всех видов русской криптографии и, повторяясь, активно употреблялась еще в XIX веке. Как отмечал И. Срезневский: “... название грамоты тарабарскою, у нас относительно новое ...” [9]. Тарабарской грамотой, по данным источников XIX века, называли систему тайнописи, которая в древнерусских источниках XV–XVII веков упоминается как *литорея*.

Литорея была двух видов: *простая литорея* предполагала замену только согласных букв по определенному ключу, *мудрая литорея* – еще и замену гласных. Наиболее распространенным ключом *простой литореи* был точно такой же принцип замены согласных, который указал в Примечании А. Мельников-Печерский.

Аналогичная таблица приведена в работах П. Лавровского, Е. Карского [12], М. Сперанского, Л. Черепнина [13]. Эту же таблицу мы нахо-

дим в “Очерках поповщины” А. Мельникова-Печерского (ч. 1, гл. V), в приведенной нами статье “Раскольниковская переписка”.

Как отмечал М. Сперанский, данный код можно считать каноническим, так как зашифрованные им тексты встречаются наиболее часто. Однако по текстам XVII века восстанавливается еще семнадцать вариантов *простой литореи*, представляющих собой незначительные модификации основной [14].

Основной шифр *простой литореи*, который получил в России наибольшее распространение в XVII–XVIII веках, начал регулярно встречаться в памятниках с середины XV века, а в XIX веке в публицистике и научной литературе носит название *тарабарской грамоты*.

Несмотря на то, что первая фраза, написанная *тарабарской грамотой*, датируется XIII веком (пятистрочная запись на Шенкурском Прологе 1229 г., сгоревшем во время пожара 1812 г.), многими исследователями ставится под сомнение ее древность [15, 14].

Как предполагали А. Соболевский, П. Лавровский, в Древней Руси практически все обнаруженные виды тайнописи, как правило, имеют аналоги в тайнописи византийской. Однако, по мнению М. Сперанского, система *тарабарской грамоты* такого аналога не имеет: «Ни одного примера греческой криптографии более или менее сходного с нашей простой литореей мы до сих пор не нашли... Условная замена одних букв другими, какую мы видим в “простой литорее”, – настолько простой способ “затаення”, что придти к нему можно было и непосредственно и независимо от готового образца. Косвенно в пользу такого предположения говорит то, что способ условной замены одних букв другими встречается с весьма раннего времени на Востоке... С другой стороны, в пользу русского изобретения этого способа в славянской письменности говорит и то, что “простая литорея” у югославян (где ввиду греческого влияния во всех сферах жизни она, будь она греческого происхождения, явилась бы раньше и оттуда, как обычно, могла бы проникнуть на Русь) происхождения как раз русского, притом довольно позднего (XVI–XVII вв.), когда мы видим и в других случаях русское влияние на юге славянства» [14].

И хотя расцвет русской тайнописи, по данным памятников, приходился в России на вторую половину XVI–XVII веков, вероятно, ввиду очень простого принципа шифрования *тарабарская грамота* сохранилась вплоть до XIX века.

Таким образом, выражение *тарабарская грамота*, помимо называния “чего-либо непонятного, неизвестного” еще в XIX веке употреблялось как термин для обозначения особого вида русской тайнописи.

Литература

1. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. СПб., 1998.
2. Картотека "Словаря русского языка XVIII в.". Институт лингвистических исследований РАН. СПб.
3. Словарь Академии Российской. СПб., 1794. Ч. VI.
4. Словарь церковнославянского и русского языка. СПб., 1847. Т. IV.
5. Большая картотека словарного отдела Института лингвистических исследований РАН. СПб.
6. Горяев Н.В. Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис, 1896.
7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1973. Т. IV.
8. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. IV.
9. Срезневский И.И. Замечания о русском тайнописании // Записки Императорской Академии наук. СПб., 1871. Т. XIX.
10. Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. СПб., 1902. Т. 2.
11. Раскольническая переписка // Православный собеседник. 1866. Апр.
12. Карский Е.Ф. Очерк славянской кирилловской палеографии. Варшава, 1901.
13. Чаев Н.С., Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1946.
14. Сперанский М.Н. Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках письма // Энциклопедия славянской филологии. Л., 1929.
15. Лавровский П.А. Старорусское тайнописание // Древности. Труды Московского Археологического общества. М., 1873 (написано в 1869).
16. Попов А. Дипломатическая тайнопись времен царя Алексея Михайловича // Записки Археологического общества. СПб., 1852. Т. V.

Санкт-Петербург

НАЗВАНИЯ СТАРИННЫХ УКРАШЕНИЙ

© Ю. Г. КОКОРИНА,
кандидат исторических наук

При раскопках как античных городов и некрополей, так и погребений местного населения, исследователи находили украшения, некоторые типы которых были известны мировой археологии только по упоминаниям в письменных источниках. Российские археологи, описывая и публикуя найденные предметы, называли как сами вещи, так и их конструктивные элементы. Одни названия, как будет показано далее, прижились в античной литературе сразу, другие изменяли форму, третьи имели несколько значений-синонимов.

Украшения являлись частью убора. Рассмотрим их названия по мере расположения на теле человека.

Так, на голове помещались различные головные уборы, которые и сами иногда являлись украшениями – диадемы, калафы, стленгиды, стефаны [1. С. 10] и венки.

Слово *диадема* как в русский, так и в другие европейские языки пришло из древнегреческого. Так называлась головная повязка, которую женщины носили как украшение, юноши – как знак победы, жрицы – как знак сана [2. С. 180]. Но особую роль диадема играла как знак царского достоинства, являясь частью головного убора персидских царей, а в Древнем Риме со времен Диоклетиана она была принадлежностью императоров, которую по приказу Константина Великого украшали драгоценными камнями [3. Т. 1. С. 434]. В археологической литературе называют подобное украшение в форме пластины или стержня, согнутых по диаметру головы, имеющее выделенный декоративный элемент в центре. Именно этот термин употребляют для наименования, например, находки из Артюховского кургана, среди элементов которой выделяют *обруч*, *подвески* и *центральное украшение* – “узел Геракла”, являющийся, по верованиям древних греков, амулетом, защищающим от злых сил [4. С. 53; 5. Рис. 30]. Авторы, описывающие диадемы, выделяют *верхнюю часть с подтреугольным выступом*, которая располагалась над центром лба [1. С. 12].

Калаф является не столько украшением, сколько головным убором. В ранних публикациях археологических памятников на русском языке использована форма *калатос* в подражание греческой [4], но в современной археологической литературе установилась форма *калаф*. Калафы украшались бляшками и подвесками из драгоценных металлов. Исследо-

ватели предполагают, что женщины, в погребениях которых найдены калафы, являлись жрицами Деметры.

Стленгида – золотое украшение, имитирующее локоны волос. Оно имело вид пластины с петельками для закрепления. Такие украшения еще назывались *ампиками*. Оба слова пришли в русский язык из древнегреческого. *Стленгидой* в Древней Греции называли и скребок с длинной, загнутой крючком, полосой, которым очищали свое тело атлеты. Предположительно, украшение могло получить свое название за сходство с этим скребком [4. С.51].

Стефана – украшение в виде пластины, имеющей форму широкого полумесяца, суживающегося к концам. В древнегреческом языке *stephanos* значило также “венок”. Как название соответствующей реалии слово пришло и в русскую научную речь.

Венок – украшение в форме пластины с прикрепленными к ней золотыми листьями, а иногда цветами и плодами, выполненное из драгоценных металлов. Слово *венки* является славянским и восходит к слову *вить*, имеющему, в свою очередь, индоевропейское происхождение [6. Т. 1. С. 291, 322]. В античных погребениях находят золотые венки, выполненные настолько реалистично, что другой термин и не возникал у исследователей.

У погребальных венков выделяется *центр*, в который помещали украшение в виде отпечатка монеты, а впоследствии даже изображение из резного камня. Такой отпечаток монеты в центре венка И. Толстой и Н. Кондаков предложили именовать *индикацией* [4. С. 44], а в работах советского времени был предложен другой термин – *брактеат* [5. С. 350].

В ушах размещались *серьги*, к головному украшению прикреплялись *подвески*. Слово *серьга* восходит, по мнению М. Фасмера, к чувашскому *кольцо* [6. Т. 3. С. 611]. Наряду с простыми серьгами в виде колец среди серег эпохи античности встречаются так называемые *роскошные*, выполненные в греческой микротехнике, обильно украшенные эмалью, с использованием целых скульптурных групп. В их конструкции выделяют обильно декорированный *диск*, миниатюрную скульптурную или орнаментальную *композицию*, *ладьевидную подвеску*, переплетение *цепочек* с двумя–тремя *подвесками* [7. С. 8].

Все элементы таких серег имеют названия, свойственные русскому литературному языку и не вызывают разночтений у различных авторов, за исключением термина *ладьевидная подвеска*, которую иногда называют *лунницей* [8]. Думается, что термин *лунница* более приемлем для средневековых украшений, имеющих вид пластины в форме полумесяца, что и послужило причиной такого названия.

В литературе используется также наименование серег в форме *калачиков* [9. С. 45], то есть объемных тел изогнутой формы с утолщением в средней части. Происхождение этого термина связано с метафорой, вызванной сходством подвески с калачом, который В. Даль определяет как

“пшеничный сгибень с дужкою” [10. Т. II. С. 76]. Происходит это слово от *kolo, как и слово *колесо* [6. Т. 3. С. 285].

Используется в литературе также наименование *ушное украшение* для предметов, состоящих из согнутого стержня, на одном конце которого помещались пирамидки из зерни или бараньи головы, на другом – выпуклые круглые пластины с изображением в центре [5. С. 337]. Такое украшение надевалось на мочку уха, как дужка современных очков.

На шею надевались *ожерелья, гривны или пекторали*.

Термин *ожерелье* используется в том случае, когда удается найти хотя бы большинство составляющих его бус или подвесок или реконструировать форму украшения. В русском литературном языке это слово связано со словом *жерло* – горло [6. Т. 3. С. 125]. Так называлось украшение Древней Руси, представляющее собой стоячий воротник из бересты или кости, носимое на горле и застегивающееся спереди на левой стороне [11. С. 79]. Но со временем значение слова изменилось, и оно стало применимо и к античным украшениям, состоящим из одного или нескольких рядов бус или подвесок различной формы и размера.

Наряду с такими элементами ожерелий, как подвески и бляхи, в литературе употребляется термин *фермуары* в значении “застежка-украшение” [12. С. 88]. Это слово, происходящее от французского *fermoir*, с одной стороны, является термином современного ювелирного дела, с другой – несет на себе некоторую модернизацию. Думается, предпочтительнее все же слово *застежка*.

Слово *гривна* имеет похожие формы во всех славянских языках и связано своим происхождением со словом *грива* [6. Т. 1. С. 458]. В археологической литературе оно используется в значении “нашейный обруч”. Эти украшения были найдены во многих царских курганах Скифии и Сарматии.

Слово *пектораль* происходит от латинского *pectus* – грудь. Так называли металлическое украшение, облегающее грудь и плечи.

Одежду скальвали *фибулы* [13. С. 240]. Слово *фибула* пришло в археологическую лексику из латинского языка, где обозначало соответствующую реалию [14. С. 325]. Подробную классификацию фибул сделал А.К. Амброз, он же предложил и терминологию для их конструктивных элементов. Исследователь определяет *фибулу* как “металлическую застежку одежды” [15. С. 11].

В литературе для описания застежек античной одежды употребляется и термин *брошь*. В русский язык это слово пришло из французского, в который, в свою очередь, проникло из позднелатинского *broccare* – колоть от галльского корня *brokk – острие, остроконечный предмет [16. Т. 1. С. 144]. Похожую форму имеет это слово и в европейских языках. Думается, что подобная синонимия терминов нежелательна, хотя иногда ей придают определенный смысл: “исчезли пружинные броши, отражав-

шие эллинские традиции, и их место заняли варварские фибулы с двусторонней пружиной” [13. С. 240].

Одним из видов античных украшений являлись *геммы* – драгоценные или полудрагоценные камни с врезанным (*инталия*) или выступающим (*камея*) изображением. Слово *гемма* пришло в русскую археологическую литературу из латинского языка, в котором *гетта* означает “глазок, почка на виноградной лозе” [2. С. 126]. Причем как украшения в большей степени употреблялись *камеи*, которые имели как самостоятельное значение, так и являлись частью ожерелий, а *инталии* – перстней.

Одним из видов античных украшений были *медальоны*.

Это слово пришло в русский язык из французского, в котором восходит к латинскому *metallia* – металлическая монета [6. Т. 2. С. 589]. В древнем Риме так называлось преподносимое императором по торжественным поводам чеканное изделие, по форме напоминающее монету, но отличающееся от нее обилием украшений, характером изображения и размерами [2. С. 340]. Стеклообразные медальоны упоминаются в литературе, посвященной раскопкам в Пантикапее [14. С. 186].

На руки, а иногда и на ноги надевались *браслеты*. Это слово заимствовано из французского *braselet*, в который, как и в ряд других языков, проникло из латинского *brachum* – предплечье, рука [16. Т. 1. С. 108].

Одним из распространенных украшений являлись *кольца* и *перстни*. Слово *кольцо* восходит к корню **kolo*, общему для ряда индоевропейских народов [6. Т. 2. С. 289], а *перстень* – от *перст* – палец – слово, имеющее похожие корни у ряда индоевропейских народов [6. Т. 3. С. 244].

Среди элементов конструкции перстней выделяют непосредственно кольцо, называемое еще *дужкой* [7. С. 42] или *шинкой* [16. С. 441, 18. С. 16], и *щиток* [5. С. 386], в котором, если имеется вставка из камня или стекла, различают и *гнездо* [7. С. 549].

Итак, терминология украшений и их частей в археологической литературе, посвященной античному периоду, имеет различное происхождение. Одни слова пришли непосредственно из древнегреческого или латинского языков, другие – и таких большинство – из русского литературного языка. Что особенно характерно для терминологии украшений – это ее исключительная образность, метафоричность. Это связано, видимо, с высокой знаковой функцией украшений как в представлениях древних, так и современных людей.

Литература

1. *Мирошина Т.В.* Греческие головные украшения Северного Причерноморья // Краткие сообщения Института Археологии. 1983. № 174.

2. Словарь античности. М., 1992.
3. Любкер В. Реальный словарь классических древностей. М., 2001.
4. Толстой И., Кондаков Н. Русские древности в памятниках искусства. СПб., 1889. Т. 1.
5. Прушевская Е.Д. Художественная обработка металла (торевтика) // Античные города Северного Причерноморья. М.-Л., 1955. Т. 1.
6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 2004.
7. Северкина И.И. Роскошные серьги в Эрмитаже и других музеях // Античное Причерноморье. СПб., 2000.
8. Горбунова К.С., Саверлина И.Н. Искусство Древней Греции и Рима в собрании Государственного Эрмитажа. Л., 1975.
9. Силантьева Л.Ф. Некрополь Нимфея // МИА. 1959. Вып. 69.
10. Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. М., 1979.
11. Ювелирные изделия. Иллюстрированный типологический словарь. М., 2000.
12. Грач Н.Л. Гребень и ожерелье из Куль-Обы // Античная торевтика. Л., 1986.
13. Цветаева Г.А. Одежда и украшения // Античные государства Северного Причерноморья. Археология СССР. М., 1984.
14. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 2005.
15. Амброз А.К. Фибулы Юга Европейской части СССР // Свод археологических источников. Вып. Д1-30.
16. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1993.
17. Галанина Л.К. Курджипский курган. Л., 1980.
18. Неверов О.Я. Металлические перстни эпохи архаики, классики и эллинизма из Северного Причерноморья // Античная торевтика. Л., 1986.